

Б И Б Л И О Т Е К А

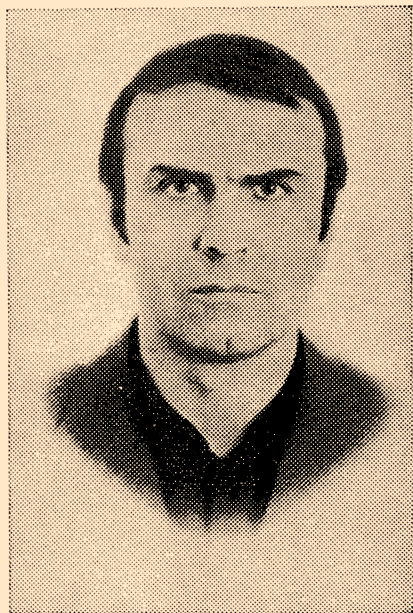
ISSN 0132—2095



**ОГОНЁК**

№ 15

1987



***Феликс МЕДВЕДЕВ***

**СУДЬБА МОЯ СГОРЕЛА  
МЕЖДУ СТРОК**

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»

Феликс МЕДВЕДЕВ

# СУДЬБА МОЯ СГОРЕЛА МЕЖДУ СТРОК

ИНТЕРВЬЮ-86

Москва. Издательство «ПРАВДА».  
1987

## Феликс МЕДВЕДЕВ

*Феликс Николаевич Медведев родился в 1941 году в Москве. Окончил Московский полиграфический институт. Печататься начал в 1964 году. Работал корреспондентом различных газет, редактором издательства «Советский писатель». С 1975 года работает в «Огоньке». Публиковал очерки, статьи, интервью в газетах «Правда», «Советская культура», «Советская Россия», «Литературная газета»; в журналах «Москва», «Знамя», «Юность», в «Альманахе библиофила». Автор многочисленных работ, связанных с жизнью и творчеством советских и зарубежных писателей. Член Союза журналистов СССР.*

## ВГЛЯДЕТЬСЯ В ПРОШЛОЕ, ПОНЯТЬ БУДУЩЕЕ

*У Вениамина Каверина в день его 84-летия*

Беседа с В. А. Кавериним проходила в день его 84-летия. Время летит стремительно, и годы берут свое. Не так давно он тяжело болел. Перенес утрату жены и друга Л. Н. Тыняновой. Врачи запретили публичные выступления, дальние поездки из Переделкина, где постоянно живет Вениамин Александрович. Но работа не прекращается. Публикуются новые произведения: рассказы, повести, романы, эссе, издано восьмитомное собрание сочинений.

О многом хотелось поговорить в этот вечер со старейшим советским писателем, лауреатом Государственной премии СССР.

— Вениамин Александрович, вы прожили большую, яркую жизнь, на ваших глазах совершались величайшие события XX века и самое главное из них — Октябрьская революция. Но время неумолимо, и уходит из жизни те, кто «на плечах своих вынес эпоху». А вместе с ними уходит и часть истории. Что вы думаете о прошлом, как оцениваете свою жизнь?

— Вы знаете, именно об этом я думаю и пишу все последние годы, ведь вопрос этот касается всей моей жизни. Начиная с книги «Освещенные окна», в которой я постарался вспомнить детство и юность, я ощущаю необходимость взглянуть в прошлое, понять, что сделано и чего не сделано в жизни. Все мы испытываем стремительность потока истории. Для людей моего возраста это особенно ощутимо. В сущности, лично для меня каждый сегодня прожитый день — история, каждый полон каким-то глубинным смыслом. Мы не задумываемся о том, что любой из нас не случайный гость мироздания, а звено великой непрерывной цепи бытия. И в этом смысле все мы творцы истории. Да, да, каждый по-своему, но каждый! Всем нам, писателям или неписателям, надо обладать историческим взглядом. Мы должны понимать, что над нами — знак истории, что мы не только от нее в зависимости, но и ее творцы.

— Чехов как-то заметил, что для жизни в настоящем надо испить прошлое, а для этого надо его знать.

— Вот именно! Знание истории помогает избежать многих негативных явлений быстротекущей современности. Что греха таить, мы часто забываем об уроках прошлого, без которого нет движения вперед. Оглядываемся на него с опаской. А мы должны учиться у прошлого, познавать его. Это, конечно же, касается и литературы. Как легко подчас мы предаем забвению события, обстоятельства, имена! То, что было когда-то частью нашей культуры, символом наших достижений. Я уверен, что далеко не все молодые писатели знают сегодня творчество Юрия Олеши, например, или Бабеля. Когда я однажды спросил у Всеволода Иванова, кто, по его мнению, самый лучший наш писатель, он ответил, что Бабель. Из его уст я впервые услышал это имя, и наше поколение помнит его и ценит. Мы совсем забыли об Иване Катаеве, тонком стилисте, чутко понимавшем природу и писавшем о ней с тургеневской глубиной.

Многие писатели двадцатых годов, к которым принадлежу и я, ушли из жизни. Я, быть может, как говорится, последний из могикан. Наше поколение было полным энергии, жизненной силы, дремавшей дотолое в человеке и разбуженной революцией.

Но на моих глазах ушли из жизни и писатели другого поколения, мои друзья, творчество которых близко и дорого: Владимир Тендряков, Алексей Арбузов, Юрий Трифонов... Они очень разные, и каждый по-своему выразил и себя и время. Насколько смогли и насколько успели.

— А если я спрошу вас сейчас, Вениамин Александрович, как вы когда-то спросили Всеволода Иванова: кто, по-вашему, сегодня самый лучший наш писатель? Впрочем, я понимаю, что вопрос звучит слишком категорично, рискованно, и хочу поставить его по-иному: кто вам близок, кого вы наиболее цените в современной литературе?

— Конечно, только время может все расставить по своим местам. Объективно и точно. Я убеждался в этом неоднократно. Купив однажды несколько томов Некрасовского «Современника», я с изумлением обнаружил, что шедевр русской словесности, рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч», напечатан в разделе «Смесь». Полистав альманах Смирдина «Сто русских литераторов», я понял, что Смирдин обладал, быть может, демократическим, но неглубоким вкусом, иначе он не поставил бы на первое место в альманахе Сенковского-Брамбеуса, а по достоинству отдал бы это место Пушкину. Но история расставила все по справедливости.

Я ведь не только беллетрист, прозаик, я получил хорошее историко-литературное образование. Отсюда, наверное, и довольно обширен круг писателей, которых я люблю, хотя многие очень далеки от моей манеры. Считаю, что один из лучших сегодня — Василь Быков. Он так ярко, так энергично, с таким мастерством пишет о войне, что максимальным становится при этом эффект читательского присутствия.

— А что вообще вы думаете о современной литературе, о молодых

писателей? Какими путями нужно бороться с застоём в искусстве, с серостью? Не кажется ли вам, что само понятие «литератор» несколько девальвируется, уценено?

— Наша сегодняшняя проза порой оказывается весьма поверхностной по содержанию, она не всегда затрагивает глубокие нравственные проблемы, она глуха и слепа ко многому, о чем надо кричать, говорить вслух. Многие берутся за темы мелкие, легковесные, банальные. Отсюда и недостаточность отражения всей панорамы, всей целостной картины нашей жизни. А фактов, заслуживающих пристального внимания писателя, предостаточно. Оставаться к ним равнодушным, безразличным — для литератора непростительная ошибка. Если он боится трудностей, связанных с художественным воспроизведением конкретных фактов, значит, он не писатель. Ведь литература — это дело всей жизни взявшегося за перо, а не дело его заработка или карьеры. Литература — это гражданский подвиг.

Сегодняшний литератор должен иметь зоркий взгляд на происходящее вокруг после провозглашенных XXVII съездом КПСС идей новизны и преобразования всей нашей жизни. Он должен чувствовать, что происходит в обществе. Он должен ответить на вопросы, которые всегда волновали отечественную словесность: как жить, как быть дальше, как не упрекать себя в холодности к другому человеку, в малодушии? Как найти выход к добру, к благу поступку? Ведь идеи самопожертвования, понятия долга, благородства, чести — не абстрактные понятия. Каждый прожитый день говорит именно об этом.

По мере возможности я слежу за текущим литературным процессом и делаю для себя вывод: многие торопятся писать. А ведь в писательском деле главное — не торопиться, не спешить. Почему же торопятся? Потому что жаждут славы, хотят быть знаменитыми. Кстати, именно эта черта в литературе последних лет меня особенно огорчает. Ведь чем стремительнее молодой литератор хочет добиться признания, тем больше пройдет времени, прежде чем он его добьется.

Был у меня однажды в гостях молодой человек, который успел написать пять романов и пятьсот рассказов. Когда я прочитал кое-что из его сочинений, я понял, что торопится он зря. Спешить ему некуда. Другой подкупил сначала не только своими хорошими очерками, но и своей профессией — он верхолаз. Эта работа, опасная и нелегкая, дает ему время для творчества. Потом он принес рассказы, и один из них мне пришелся по душе. Показалось, что мой подопечный делает хотя и неуверенные, но успехи. И вдруг он принес на прочтение солидный роман о Наполеоне Бонапарте, роман беглый, поверхностный, торопливый. Как раз перед этим я прочитал одно большое исследование, вышедшее в Англии и посвященное предполагаемому убийце французского императора. Книга эта, написанная на конкретном фактическом материале, была очень убедительной. И, конечно же, резким контрастом по своему документальному материалу и художественным достоинствам

выглядело сочинение моего знакомого. Я сказал ему об этом. Свой роман тем не менее он пытается пристроить в какой-либо журнал. Пока это не удастся. Я сделал вывод: молодой человек верит только в себя и только себе. Даже больше: он слишком о себе высокого мнения. И слишком спешит.

А вообще таланты есть. Ко мне часто обращаются начинающие литераторы за советом, и я с удовольствием вожусь с ними. Никому не отказываю в помощи и горжусь этим. Буквально вчера приезжала молодая писательница Наталья Поликарпова, написавшая хороший рассказ. Талантливо работает Владимир Савченко, создавший роман о Чернышевском. Это мой ученик. Он сумел осилить труднейший исторический материал и привнести в облик великого революционера и писателя новые черты. Удивили своей оригинальностью произведения Михаила Орлова из Томска. Его мало кто знает. Он привлек меня разносторонностью своих интересов, формой повествования и, наконец, тем, что он не только хороший прозаик, но и поэт. Мы общаемся с ним, я с удовольствием ему помогаю, некоторые его вещи одобрены в редакциях и приняты к печати. Думается, что он пробьется и найдет себя в литературе.

— А не слишком ли многие стремятся сегодня занять свое место на Парнасе? Всеобщая грамотность, литературная подкованность — это, конечно, хорошо, но откуда идет поток серости, бездарщины, который заполнил наши печатные органы? Или я сужу слишком резко?

— Я отношусь к этому несколько иначе. Да, пишут многие и, думается мне, будут писать и дальше. Трагедия в том, что большинству писательское дело кажется легким, доступным. На самом же деле это тяжелый и мучительный труд, который медленно вытягивает из тебя все жилы, выворачивает душу.

— Члены литературной группы «Серапионовы братья» при встречах говорили друг другу: «Здравствуй, брат! Писать очень трудно». Это история нашей советской литературы, а я хочу спросить: так ли трудно вам писать сегодня?

— Еще труднее. Почему? Причины разные. Я ведь пишу не только чистую прозу. Во время войны я написал целую книгу передовых статей. Верный ученик Тынянова, я считаю, что литератор должен уметь писать все. Как Пушкин, который писал и романы, и повести, и исторические исследования, и статьи. В молодости я тоже торопился. У меня, например, есть роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», который был написан за полгода. Тогдашней энергии мне хватало на то, чтобы ходить за своим будущим героем буквально по пятам и записывать все его поступки и выходки, его мысли, остроты, афористические высказывания. Он смеялся надо мной. Я краснел, но записывал... Теперь воображение играет в моей работе большую роль, чем наблюдение.

— И все-таки большинство ваших произведений основано на подлинном материале, на конкретных фактах, на наблюдении. Включая и роман «Два капитана».

— Да, это так, свои романы, повести и рассказы я писал в связи с тем, что происходило в стране, считая современность необходимым ориентиром любой книги, хотя и о далеких временах.

Что касается романа «Два капитана», количество изданий которого недавно перевалило за сто, то я до сих пор изумляюсь его успеху, не считая эту вещь лучшим своим романом. С точки зрения литературного вкуса, новизны я ценю роман «Перед зеркалом». Но время, дистанция, читательский интерес кладут меня в этом смысле на обе лопатки. За роман «Два капитана» я получил Государственную премию СССР, он постоянно издается у нас в стране и за рубежом. Он чем-то затронул сердца людей, я знаю, что многие, прочитав его, смело шли осваивать суровые северные края.

Я понимаю, что успех этот не вечен, но именно сегодня он придает мне новые силы.

Тут мы заговорили о том, что параллельно с литературой, аккумуляющей глубины народной жизни, постепенно развивалась, набирала силу, и немалую, литература холодная, равнодушная, подчас циничная, карьеристская, спекулирующая на идеях времени, с одной стороны, и на потребительском сознании — с другой. Отсюда в литературе появились понятия «запретных зон», «быть вне критики». Я заметил Вениамину Александровичу, что он в этом смысле никогда не был вне зоны критических оценок.

— В этом смысле я действительно был всегда на коне, — шутит писатель. — Ведь меня частенько поругивали в печати. Но еще Максим Горький написал мне когда-то о том, что неважно, хвалят тебя или ругают. Художнику это должно быть безразлично. И все-таки замечу, что некоторые публикации, посвященные роману «Открытая книга», задержали ее выход на несколько лет. Но были и статьи, которые по-настоящему помогли в работе. Особенно статья покойного ныне молодого критика Хмельницкого.

Я узнал, что скоро в издательстве «Советский писатель» появится книга о жизни и творчестве В. Каверина. Ее авторы В. и О. Новиковы сумели обнаружить в творчестве писателя связующую все его произведения ниточку романтизма, доброй волшебной сказки. Независимо от того, реальный или выдуманный факт положен в основу того или иного произведения.

Заговорили о реформе школьных программ. Писатель уже выступал в печати по этому взволновавшему его вопросу.

— Когда я познакомился с новыми программами по литературе для школы, — сетовал Вениамин Александрович, — я прямо-таки заболел. Меня всего трясло. Разве можно так издеваться над литературой! Неужели некоторым деятелям непонятно, что литература — это живое существо и отрывать от нее часть Достоевского, Толстого или Кольцова — это отрывать от живого.



Коснулись волнующих сегодня многих проблем московского градостроительства, сохранения древнего лика столицы. В. Каверин — давний москвич и хорошо знает город. Долгие годы он жил в Замоскворечье, в Лаврушинском переулке, по соседству с Третьяковской галереей.

— Хорошо, что сейчас идет большая реконструкция уникальной художественной зоны, — сказал мой собеседник, — но и здесь еще много проблем.

В. Каверин заговорил о том, что многие-многие писатели не удостоены еще мемориальных досок, что тем самым мы недооцениваем их значения в нашей духовной жизни, забываем о них. Пора, например, установить мемориальную доску на доме, где жила, приезжая в Москву из Ленинграда, Анна Андреевна Ахматова. «Это здесь рядом, тоже в Замоскворечье», — заметил Вениамин Александрович. И он поведал мне историю, как в день семидесятипятилетия к нему приехали секретари правления СП СССР и поинтересовались, не нуждается ли он в какой-либо помощи. Писатель поблагодарил и сказал, что нет, не нуждается, но у него есть одна просьба: установить памятную доску на Греческом проспекте в Ленинграде, где жил Юрий Тынянов. Вскоре эта просьба была удовлетворена. Известному советскому писателю, литературоведу, ученому, о котором много писал В. Каверин, было воздано должное.

В связи с предстоящим VIII съездом Союза советских писателей меня интересовали некоторые вопросы, касающиеся профессионального труда литератора. Но вначале я поинтересовался воспоминаниями старейшего советского писателя о Первом съезде СП СССР. Вениамин Александрович рассказывал о Максиме Горьком, своем учителе, об атмосфере того памятного форума, а потом сказал:

— Хотите откровенно: Первый съезд был самым писательским съездом от начала до конца. На нем действительно решались только творческие писательские проблемы. Но на некоторых наших съездах много времени уделялось вопросам, имеющим к литературе отдаленное отношение. Догматизм, уход в сторону от насущных вопросов конкретной профессии, конкретного ремесла всегда вредят.

— Как мастер слова, много лет отдавший писательскому ремеслу, о каких наблюдениях вы могли бы рассказать молодым литераторам?

— Вот одно из наблюдений: я заметил, что часто хороший писатель — это и хороший человек. Нравственная и личная позиции здесь полностью совпадают. Это видно и по произведениям таких, например, писателей, как Александр Крон. Прямой, честный, справедливый человек и в жизни, и в литературе. Замечательным человеком был Константин Паустовский. Благородным, простым и отзывчивым был Владимир Тендряков. Я не знал лично Михаила Булгакова, но впоследствии очень много слышал о нем, сделал, что мог, для восстановления его имени в литературе и пришел к выводу, что это был также по-настоящему хороший человек.

— Вениамин Александрович, есть ли факторы, которые влияют на ваш труд, стимулируют творческий процесс?

— Есть: музыка! Хотя я сам из музыкальной семьи, но долго был далек от музыки. Увлекался живописью, которая и сейчас остается моим хобби. Собираю картины, бываю на выставках. Но главным действующим двигателем, пронизывающим все сознание и вдохновляющим меня сегодня, является музыка. Довольно хорошо я знаю классическую и современную музыку, слежу за молодыми именами.

— Что вы сейчас читаете и что советуете читать начинающим литераторам?

— Сейчас и все последнее время перечитываю Льва Толстого. Почему потянуло на Толстого? Я по-прежнему учусь писать, и более тонкого и смелого учителя я не знаю. Дело не в подражании, дело в умении остаться самим собой. Именно сейчас я оценил ту жертву, которую он принес, в конце концов отказавшись от литературы. Он многому меня научил. Я читаю его как мастера прозы, и мне интересно наблюдать его искусство, понять его подлинное значение во все времена. Я поражаюсь, как сумел Толстой показать в романе «Воскресение» все государственное устройство тогдашней России. Недаром Ленин назвал его «зеркалом русской революции». Теперь я особенно понимаю, как он был прав.

К великому сожалению, я наблюдаю, что писатель без библиотеки в наше время — явление обыкновенное. Незнание собственной литературы — факт, довольно распространенный среди молодых. Это идет от непонимания той простой истины, что каждое новое поколение продолжает, а не начинает литературу. Поэтому мой совет: читать как можно больше.

— Как вы пишете, в какие часы, есть ли определенная норма?

— Пишу каждый день всю жизнь. Кроме того времени, когда с женой мы ездили или по нашей стране, или за границу. С утра сажусь за работу, пишу, а во второй половине дня, после отдыха, отвечаю на письма, их приходит много, читаю, назначаю деловые встречи. Пишу от руки, а письма диктую. У меня сохранился богатый архив. Целая стена папок, записных книжек. Пойдемте, я вам его покажу.

Пока мы переходили из комнаты в комнату, я спросил Вениамина Александровича: а сколько всего томов написано им за всю жизнь? Он ответил, что, кроме вышедших восьми, наберется еще томов пять.

Смотрю на полки с архивом. Толстые папки с надписями: «Исполнение желаний», «Перед зеркалом», «Открытая книга», «Письменный стол», «Письма читателей», «Письма писателей»...

— Это варианты и черновики?

— Да, мне всегда казалось, что я мог написать лучше; но бесконечное количество вариантов, заключенных в этих папках, говорит о том, что я не шел в литературу напролом, что я отнюдь не самоуверен.

*Июнь 1986 г.*

## У ВИКТОРА АСТАФЬЕВА НА ЕНИСЕЕ

*Печальные беседы с автором «Печального детектива»*

— Последние мои вещи вам показались злыми, желчными? Нет, злым я не был никогда. Даже в худшую пору своей жизни. Но и добреньким быть уже не могу. Надоело писать про цветочки, надоело птичек воспевать. До того довоспевался, что ни коростеля, ни жаворонка, ни перепелки... Всех поотравили. Вороны да сороки остались...

Мы стоим с Виктором Петровичем Астафьевым на высоком берегу Енисея. Синь, простор, дыхание свежего ветра. Там, внизу, несется, спешит куда-то могучая сибирская река, снуют по ней лодчонки, катера, от быстроходных «ракет» бьются волны в песчаные пляжи. Позади березовый лес.

— На жизнь смотрю уже как-то устало. В тягость становится лишний перелет в Москву, давит разница во времени. Читаю книги иных своих ровесников, и кажутся они мне писанными древними старцами.

Виктор Петрович поднял руку:

— Вот там, за дымкой, километрах в пятнадцати отсюда, моя родная Овсянка, там я родился и пошел в школу. Чуть ближе сюда, возле каменного выступа — Шалунина быка, в тридцать первом году нашли мою мать в реке.

Многое в жизни Астафьева связано с этими местами, куда он вернулся несколько лет назад. Один московский друг спросил: «Зачем?» «Помирать», — ответил он ему.

— Недавно умер писатель Анатолий Соболев. Родом он с Алтая. Но жил далеко от родной земли, и не хватило ему сил вернуться назад. Все скучал по Алтаю... С возвращением в отчие места начинается какой-то новый пласт жизни. Возникает желание что-то найти. Вот я хожу по Овсянке и что-то ищу, ищу. Детство свое. И знаю, не найти его, а все равно на что-то надеюсь. И вот этот поиск, это блуждание по далям памяти рождает какую-то светлую грусть, а грусть и печаль для литератора всегда благодатный материал. Почти вся русская поэзия, да и проза, зависела от нее. Печалью веет и от современной словесности — Юрий Казаков, Николай Рубцов, Виктор Курочкин, Константин Воробьев, Александр Вампилов, Василий Шукшин.

— Вы дружны были с Шукшиным?

— Нет, дружны мы не были. Встречались, разговаривали за общим столом, а этого мало, чтобы назвать другом. Хотя для иных было бы предостаточно. Много у него развелось за гробом друзей. Знаете, никогда я не буду писать о нем. О нем не буду писать и о маме. Это мое

и останется со мной. Крошку воспоминаний о матери своей, я знал ее только до семи лет, никогда не доверю бумаге. Когда переносишь интимное свое, сердечное на бумагу, волей-неволей получается искажение. Посредством вот этой холодной ручки на холодную бумагу боль свою перенести часто невозможно, перо и бумага разъединяют тебя и душу с чем-то живодышащим, и оттого не все и не всегда доверяется бумаге. Это, может быть, приспособление к сиюминутному движению литературы, от которого уйти трудно, если не невозможно. Так уж пусть это «личное» будет со мной навсегда. И еще хочу сказать: есть у меня одна совершенно готовая рукопись, которую я люблю. Вместо подушки в головах у писателя, когда он помрет, может и, наверное, должна лежать хоть одна заветная рукопись. Она соединит писателя с будущим. Быть может, на этот раз соединит.

...Хорошо, что я не сумел повидаться с Астафьевым в Москве, во время работы VIII съезда писателей. Разговор получился бы скомканным. Виктор Петрович не часто бывает в столице, дел и суеты накапливается достаточно. А главное, не побывал бы я тогда на его родине, не полюбовался бы сибирской природой. Вот и оказался я в Академгородке, что в получасе езды от Красноярска.

Предугадывая мой вопрос, как только мы вернулись в квартиру и расположились в рабочем кабинете, Виктор Петрович сказал:

— Кто может распорядиться моим замыслом? Да никто! По заказу я не пишу, не умею, да у меня и не получится. Иные объявляют о своих замыслах и планах выдачи продукции заранее. Мне остается им только позавидовать. Я так не умею...

Не хочу и не буду врать, что, мол, наш писательский съезд меня всколыхнул. Ничего подобного. Наколыхался я предостаточно в жизни... Другое дело — Восьмой съезд был действительно посвободней, что ли, а может, и поразвязней. Говорили с трибуны: «правда», «свобода слова». Говорили, не вникая в великие слова, смысл которых и прекрасен, и страшен одновременно, требует от человека огромной ответственности, они — бритва в руках ребенка. И вот иные ораторы сводили мелкие счеты друг с другом, вели кухонную войну-войнишку, низводя себя до сплетников и бойцов из коммунальной квартиры.

Мне показались странными слова Виктора Петровича, что для него не существует произведений, написанных на злобу дня. А как же с «Печальным детективом»? Роман напечатан в 1-м номере журнала «Октябрь» за 1986 год. Разве он не отклик на те явления действительности, которые требуют резкого вмешательства общества, искусства и, конечно же, литературы?

— Даты создания «Печального детектива»: 1982—1985. Роман этот отличается от всех других материалом. Издатели, знаящие о его существовании, всячески меня торопили. «Дадим с ходу!» — говорили они. Так и вышло — напечатали роман неслыханно быстро — за три недели, досылом. В декабре заслали в набор, в январе роман увидел свет.

И все-таки напрасно я так быстро отдал роман. Прочитав верстку, убедился: книжке этой надо было еще с годик полежать. Поостыть. Но обстоятельства жизни и сама жизнь требовали, чтобы эту работу я отдал на суд читателей поскорее.

— А как вообще появился «Печальный детектив» — сегодня одно из самых читаемых современных произведений?

— Несколько лет назад задумал я написать очередную романтическую вещь, наподобие «Пастуха и пастушки». Получилось нечто с названием: «Печальный детектив и одинокая монашка». В том сочинении я использовал знаменитые «Португальские письма» Гийерага. Любимое чтение. Так иногда хочется, начитавшись про тракторы, про целину, про любовь к самоварам и березкам, изящного почитать.

Так вот, написал я листов четырнадцать. Чувствую, конца не видно. Забросил рукопись, думаю, может, когда-нибудь сгодится. Издательство «Современник» запланировало новую книгу. Я достал с полки рукопись, сократил ее, в том числе и название наполовину убавил. Поймал вроде бы тональность вещи, которая совершенно отличалась от той первоначальной рукописи. Правда, поначалу мне показалось, что все ценное было именно в той руде, которую я изъял. Только не подумайте, пожалуйста, что у меня по дому валяются черновики, варианты, незавершенные рукописи. Всякая вещь работает по-своему. Повесть «Стародуб» получилась из одной начальной строки рассказа о браконьере. Однажды решил я написать очерки о рыбалке на Енисее. Вышли они вялые, занудные, длинные. И вдруг попадаете какой-то кусочек, где описывалась ночь у костра. Что-то я в нем уловил, зацепился за это мимоходное описание — и от «Капли» пошли главы, выросшие в «Царь-рыбу».

«Детектив» получился жестким и плотным потому, что он короткий. Мало я прописывал этот роман. Кое-где действовал напрямую, информационно, надеясь на хорошо подготовленного читателя. Зачем ему информация о том, что всходило солнце, закат сиял, пели птички, листва шевелилась? Обо всем этом в нашей литературе так много и хорошо написано. Да и «дух» вещи этого не требовал. В романе всего один пейзаж, и тот мимоходный. Пейзаж в этом произведении, по моему замыслу, должен был проходить через нутро героя, выражая его печаль и надломленность, но я не хотел сознательно делать своего героя надломленным, ущербным. Он у меня не пьяница, не бабник. Но не хотелось мне его и оглоблей делать. Как вышло, не мне судить. Но раз люди читают, наверное, что-то вышло. Впрочем, они иногда такое читают и рвут из рук друг у дружки, что тоска берет и обида за «лучшего в мире читателя».

Реакция на роман разная. Одни читатели, их меньшинство, проклинают автора, они взбешены, раздражены. Чем? Обнажением «натуральностей» некоторых сторон нашей жизни. Другие, их большинство, пишут письма, возражая критикам: вам книга кажется страшной? Но это цветочки. Сейчас я вам покажу ягодки. И выдают рассказы о случаях по-

страшнее... Я уже не могу все это читать. Сон потёрял. Держу под рукой двухтомник «Пушкин в воспоминаниях современников», иначе сойду с ума. Судя по отзывам читателей, романом я угодил в десятку, но, честно говоря, вышло это произвольно...

Да, роман «Печальный детектив» — по-настоящему острое, смелое и, я бы сказал, решительное произведение, из тех, за которые уважают современную литературу. Пусть нечасто, раз в несколько лет, появляются такие повести, романы, рассказы, как «Печальный детектив» Астафьева, «Пожар» Распутина, «Знак беды» и «Карьер» Быкова, «Плаха» Айтматова, — книги, которые учат смотреть в глаза истине. Слышал я, правда, и такое: легко, дескать, Астафьеву, авторитетному писателю, ему и позволено больше, чем другим. Принеси, дескать, тот же «Печальный детектив» неизвестный автор, ему бы от ворот поворот...

— Ну, как на это ответить? Я развожу руками и улыбаюсь. Начинал писать в маленьком уральском городке Чусовом. Грамота — шесть классов. Наверстывал образование в школе рабочей молодежи, работая в горячем цехе. Но тянуло писать, и пробовал писать даже на уроках. А спать хотелось... Кто тогда мне помогал, кто устилал дорогу коврами? Сам себе устилал и коврами, и шипами. Жена помогала и помогает. Семь книг было уже у меня, а так случилось, что в доме на ужин не оказалось хлеба. Картошки с солью поели. Семья большая. Ребятишек жалко. Отложил работу над книгой, написал очерк о сталеваре, напечатал его в областной газете, получил семьсот, старыми, разумеется, рублей, отдал деньги жене и продолжал работу над книгой. Однажды, тоже в нелегкие для меня времена, предложили переиздать одну мою злободневную, но слабую книгу... Можно было материально выручиться. Да ведь раз выручишься, два, а потом?... Нет, не пошел я на соблазн, не поддавался искушению легкого заработка — очень эта легкость губительна для молодого литератора. Вот и одолевал малограмотность, робость свою, внутреннего редактора, который, конечно, и сегодня наличествует и умрет лишь вместе со мной. Если уж Чехов из себя раба по капле выдавливал, то мы-то по мизеринке... Говорите, Астафьеву больше позволено, чем другим? Но я только раз, один раз в жизни заключил договор под ненаписанную книгу, под «имя», так сказать, и ох как пожалел об этом! Душу ведь продал! Гиру на шею повесил...

Другое дело: со временем выработалось какое-то ко мне определенное отношение в издательствах и журналах. Появились честные, принципиальные друзья. Они знают, что если я что-то предлагаю, то это всегда «по адресу» и «товар мой, личный», именно для этого издания. И уж коли заговорил на эту щекотливую тему, скажу, что даже квартиру вот эту, в которой мы сейчас находимся, расширить похлопотал мне секретарь Правления Союза писателей РСФСР Юрий Васильевич Бондарев. Я это говорю для тех, кто думает, что мне все само собой с неба валится.

— Кстати, Виктор Петрович, вы произнесли слова «провинциальный писатель», а я как раз хотел спросить вас: что вы думаете о возможностях нашей прозы и поэзии, о каком-то качественном их рывке, о том, что литература должна полнее, объемнее, смелее вторгаться в жизнь.

Естественно, термин «провинциальный писатель» в данном случае чисто условный. Мы давно уже пришли к выводу, что провинция — понятие негеографическое.

— Нынешний съезд писателей меня еще раз убедил в том, что провинциальности при всем при том в Москве побольше, чем на наших необъятных просторах. По той простой причине, что членов Союза в столице больше, чем во всей России, и многие из них на своих лаптях, а кто и на штиблетах, к великому сожалению, провинциальность эту в столицу несут. И несут с доблестью. Конечно, в жизни провинциального писателя есть свои преимущества, но есть и своя ущербность. В Москве творческий человек многое может получить, как говорится, бесплатно, мимоходом, мимоездом, в кругу друзей-приятелей. В провинции слишком узок круг людей, с которым тебя связывают общие творческие интересы. Я могу, например, разговаривать по душам, довериться одному-двум товарищам по труду.

Мне кажется, что тот, кто медленнее думает, ходит, сближается с материалом, тому легче жить в провинции, где вырабатывается свой ритм жизни. Не исключены в нем, конечно, ни взрывы эмоций, ни какие-то неожиданные поступки по поводу происходящего, но все-таки писатель может здесь более пристально сосредоточиться на своем собственном материале, и главное — на его отборе. Ведь иной писатель зачастую не знает в суете сует, о чем ему писать. Поэтому хватается за все. И вот выходит в одном году сразу несколько книг самого разного содержания. Вроде бы вития работает, бегаёт, издаётся, куда-то даже избирается, а посмотришь назад — одни спицы лежат.

Конечно, многое зависит и в столице, и в провинции от степени накопления писательской культуры. Я говорю не только о внутренней культуре, а о чем-то более сложном, к чему, быть может, мы только приближаемся. К пониманию и осознанию какой-то нравственной истины. Тогда, когда ты становишься менее раздражительным по мелочам, ощущаешь, что есть на земле какой-то «высший судия», есть что-то духовно высокое, непостижимое, ну, допустим, осознание приближения смерти. Ощущение того, что происходящее в мире неразделимо с тобой. Что твой курятник — твой рабочий стол, твоя работа — как бы избирать здесь громких слов? — маленькая, но твоя капля крови, как на войне, слившись с морем крови твоих соотечественников, — этот поток, река крови утопили войну, так и ныне в огромном наступательном движении человека есть и твое участие, твоя боль, забота и основа всех основ — работа.

Надо иметь мужество не тащить в издательство, в журнал черновики, недоделанное, недоработанное, чтоб не стыдиться потом. Я пишу рывками, лихорадочно, быстро, хаотично, иногда печатал да и, случается еще, печатаю сыроватые вещи, тот же «Печальный детектив», например, да и «Царь-рыбу» считаю вещью неровной, с провалами, и опытный читатель это заметил и сказал мне в письмах об этом, но главное — чтобы не вошло в привычку волочить скороспелки на люди.

Еще о провинции? Пожалуйста, посмейтесь! Помню, в Чусовом ко мне приходили работники финорганов, чтоб обложить меня налогом: чего вы, дескать, здесь делаете, почему тунеядствуете? А я к тому времени уже в Союзе писателей состоял! Но они считали, что писать я должен после «основной» работы. Да и их ли только, моих далеких, наивных чусовлян, убеждать надо, что писательская работа — это навсегда, на круглые сутки, на всю жизнь, до последнего вздоха. Однако все еще в провинции раздражаются тем, что работает наш брат не «по гудку» и часто пишет не то и не так, что им хочется, а хочется провинции сердешной, чтоб ее восхваляли, лелеяли, сладким медом по губам мазали. Но писатель не официант по обслуживанию клиентов и не кондитер по выпечке пирожных...

Чаще всего почему-то раздражение исходит от работников школы, педагогических институтов. Масса писем скопилась у писателя, в которых учителя пишут о том, что не понимают его терминологии, языка, идеи, замысла. Обвиняют не себя, а автора в том, что он им непонятен. Абсурд! Самые ортодоксальные записки и вопросы идут от учителей. Жалко, считает Виктор Петрович, что иным из них дозволено преподавать, ведь учитель — это прежде всего хороший читатель.

Мне захотелось узнать мнение Астафьева по поводу решительного заявления художника Гогена: «В искусстве я прав».

— Можете ли вы так уверенно сказать о себе?

— Нет, не могу. Наоборот. Меня всегда одолевают сомнения. Ведь сегодня, и мы об этом говорим вслух, полным ходом идет разрушение мировой гармонии, разрушение духовности человека. Честно сказать, меня вообще одолевают сомнения: кому все это нужно? Кому нужен Микеланджело, Рафаэль, Данте и Шекспир, Толстой, Пушкин? Иногда кажется — никому, хотя я понимаю, что если бы их не было, человечество давно бы опустилось обратно на четвереньки.

Я думаю, что наш читатель, тот самый, с чистой, незапятнанной душой, больше верит в наши возможности, чем мы сами верим в них. Все прожившие свой век и хорошо поработавшие писатели, независимо от времени, критически относились к своему труду. Просто Пушкина и Лермонтова рано убили. Они не успели выразить свой скепсис. А Лев Толстой поддался от литературы к «своему» богу, надеясь тем нравственное что-то сделать, изменить мир к лучшему.

Да, и сомнение... Я считаю, что и сомнение — питательное вещество творчества. Неру сказал, что из столкновения личности с обществом ро-



ждается поэзия. Эту мысль мы так или иначе нередко повторяем. Самоуверенность, самоуспокоенность всегда были противоестественны мыслящему человеку. Только посредственность думает, что с нее все началось и ею все кончится.

И мы вновь заговорили о так называемой провинциальной жизни. Стали вместе вспоминать имена литераторов, живущих далеко и не так далеко от столицы, тех, на кого можно положиться в будущем. А быть может, уже и сегодня. И тех, к сожалению, кто каким-то образом потерялся, поисчес из поля зрения читателя, критики, или просто кого мы плохо знаем. Чистый, добрый, ясный Виктор Лихоносов из Краснодара, Николай Родин из Касимова, замечательный стилист, писатель большого уровня, соученик Астафьева по Высшим литературным курсам, воронежец Юрий Гончаров, ростовчанин Борис Куликов, Николай Никонов из Свердловска, Виталий Маслов из Мурманска, Иван Полуянов из Вологды и многие-многие другие. Об этих именах хоть и изредка, но пишут, говорят, они означены на карте российской словесности. Но есть и другие, такие, кто так же действительно заслуженно необходим читателю. Насчитали мы около тридцати таких литераторов. На самом деле их куда больше.

Тут я решил высказать точку зрения одной читательницы нашего журнала на современную литературу (о которой мы сегодня отзываемся не очень высокими похвалами), заключающуюся в том, что, дескать, достаточно нам трех-пяти творящих писателей (она перечисляет имена, среди которых есть и имя В. Астафьева), больше никого и не надо издавать.

— Я уже не раз говорил, что мы своими произведениями порой отнимаем читателя у Пушкина, Толстого, Достоевского. Если хорошенько задуматься над этим — неловко сделается. Но многим, даже философски подкованным индивидуумам не приходит в голову, что они плохо знают современную текущую литературу. А задумываться над этим надо. Не только нам, писателям, читателям, но и издателям. Тем, кто направляет нашу духовную, нравственную жизнь. Да, конечно, непрочитанная книга великого писателя, классика — Пушкина, Гоголя, Чехова и Достоевского — это безнравственное дело. Но в то же время современная литература должна развиваться. Развитие — это же диалектика всей и всякой жизни, творческой тем более. Есть у меня учебник по литературе для педвузов предвоенного года выпуска. В нем присутствуют тридцать два автора русской литературы, о которых один критик сказал, что это та блистательная русская провинция, которая бы сделала честь иному европейскому государству: Мамин-Сибиряк, Короленко, Глеб Успенский, Горбунов, Златовратский, Бальмонт, Леонид Андреев, Надсон, Писемский, Боборыкин, Эртель, Гиляровский, Ершов, даже и Лесков туда попал! Так вот, у нас тоже должны быть те тридцать два автора — потенциал сегодняшней блистательной провинции, которой можно будет гордиться. А два-три имени — они могут просто затеряться. Потускнеть.

Литература, если она есть, она рыхлит почву под будущие всходы. Вообще у меня предощущение появления гения в литературе. Того, на которого мы все работаем, быть может, такого, какого и свет еще не выдывал. Кажется, что он где-то поблизости. И на этот раз он, думается мне, появится не в пределах так называемого российского Нечерноземья, а на нашем сибирском просторе, где содержится еще мощь, энергия, сила. Простите мне мой квасной патриотизм, но я очень люблю родную свою Сибирь и сибиряков, тоже провинциал и патриот, достойный и осмеяния, и уважения, надеюсь.

И тут Виктор Петрович предложил отвлечься от «презренной» прозы и отдаться во власть прекрасной русской поэзии. Астафьев горячо любит стихи русских поэтов, многих знает наизусть. Стихи он вырезает даже из районных и областных газет. Заводит блокноты, переплетает. Приятно было услышать о том, что он следит за поэтическими публикациями последнего времени и, в частности, заметил в «Огоньке» большую подборку стихов Н. Гумилева, к которому давно испытывает особую симпатию. Он заговорил о том, что пора издать многих полузабытых, но талантливых русских поэтов, по той или иной причине оказавшихся оторванными от читателя. У него возникла мысль создать антологию русской поэзии, опять же из провинции российской. Вместе с Красноярским поэтом Романом Солнцевым они ведут эту работу. И вот зазвучал Державин:

Жизнь есть небес мгновенный дар;  
Устрой ее себе к покою  
И с чистою твоей душою  
Благословляй судеб удар.

Как современен во многом этот кажущийся древним и ветхим замечательный русский поэт, реформатор стиха — Державин!

— Да, время сконцентрировано особенно плотно в поэзии, в стихах. «Скользим мы бездны на краю» — как емко, как точно!

— Вы имеете в виду экологию, природу? Все ваши произведения воспевают красоту земли, жизни, всякой живности, и во всех бьется тревога по поводу зачастую бездумного наступления научно-технической революции, цивилизации. Имеются ли, по-вашему, хоть какие-то рецепты «ухода» от края этой бездны?

— Если бы я знал эти рецепты, я отвез бы свои книги в макулатуру и вместо них напечатал инструкции по спасению людей от самих себя.

— А литература, искусство, в которых заключена красота? Ведь Достоевский еще предрек: «Красота спасет мир».

— Ну что вы! Какие такие возможности у писателя? Не надо их преувеличивать. Большинство людей книг не читают. Есть данные, со-

бренные ЮНЕСКО: в год человечество тратит на алкоголь миллиарды долларов, а на литературу во много раз меньше. Кто знает, сколько книг прочитано, кем, каким читателем?!

— Вы хотите сказать, что вас не волнует, читают вас или нет?

— Не совсем так. Я получаю удовольствие от самого процесса работы. Когда сдаю книгу в производство, чувствую усталость. Радуюсь, конечно, получая умные письма от читателей. Особенно радуюсь, когда общаются о том, что читают вслух «Последний поклон». Чтение вслух, особенно детям,— это самое важное в воспитании.

Заговорили о нашем журнале. Как сделать его лучше, интереснее. Писатель — старый автор «Огонька», но давно не печатавшийся в нем, считает, что журнал должен возродить замечательную традицию двадцатипятилетней давности: печатать хорошие рассказы, больше печатать. И действительно хорошие. Отбирать их кропотливо. Не важна тема, важно, чтобы рассказ был талантливым. Чтобы он был на уровне доброго русского рассказа...

Полдня я провел с Виктором Астафьевым. Мы разговаривали в его рабочем кабинете, переходили на кухню и за чаем вели беседу вместе с его другом, помощницей, женой Марией Семеновной, тоже, между прочим, профессиональной писательницей. Потом шли лесом, лугом, берегом реки, и чувствовалось, что человеку этому все дорого: и литература, и природа, и судьба человеческая, и вся наша земля.

Виктор Петрович не смог поехать в свою родную деревню, что стоит километрах в двадцати от города вверх по Енисею. По его совету я поплыл посмотреть на чудо-город Дивногорск, что возведен рядом с Красноярской электростанцией.

Наша «ракета» неслась мимо заросших мохом скал, пустых не по сезону затонов, одиноких построек рыбаков, охотников, небольших деревень. Параллельно, по горной дороге мчались автомобили, по рельсам — поезда. Все кругом двигалось, несло, спешило. А я спешил взглянуть на Овсянку хоть краем глаза, взглянуть, чтобы навсегда запомнить эту заброшенную в глубине России, в центре Сибири деревушку, откуда вышел шестьдесят два года назад русский писатель, к чьему слову сегодня мы прислушиваемся, чьему слову верим. Его слово возникает из глубин народной жизни в своей великой ответственности перед временем, обществом и людьми. Утешение и вера в совершенство мира исходят от книг писателя, вера в то, что человечество выживет и станет лучше.

А подзаголовок таким и оставляю: «Печальные беседы с автором «Печального детектива». Печаль его все же светла.

*Август 1986 г.*

## ПУБЛИКА УСТАЛА ОТ БАНАЛЬНОСТЕЙ

*Два часа с Артуром Миллером*

Узнаю — в Москву на короткий срок прилетел Артур Миллер! Крупнейший американский драматург, автор «Смерти коммивояжера», «Сейлемских ведьм», «Вида с моста», «Воспоминания о двух понедельниках»... Без этих пьес, обошедших все подмостки мира, непредставима драматургия XX века.

Встречаюсь с ним в Переделкине, на даче поэта Андрея Вознесенского, с которым Миллер в давней дружбе. Согласие на интервью «Огоньку» получено не без его помощи.

Времени крайне мало, через два часа придет машина и увезет американского гостя в аэропорт.

— Что привело вас сейчас в нашу страну?

— Мне пришлось прервать работу над автобиографической книгой, которая уже давно пишется. Я приехал в СССР по приглашению Чингиза Айтматова, с которым виделся в ноябре прошлого года в Прибалтике. Сегодня он пригласил не только меня, но и других известных писателей из разных стран. Все мы собираемся во Фрунзе. Для какой цели? Для разговора о том, как нам всем прийти к третьему тысячелетию, не разрушив себя.

Я приехал из Лондона и возвращусь в Лондон, где в разных театрах ставятся несколько моих пьес. Премьера одной из них состоится 25 октября. Пьесу «Потолок архиепископа» я написал в семидесятых годах, и однажды она была инсценирована в Вашингтоне, но мне постановка не понравилась. Теперь ее ставит Королевская Шекспировская труппа, и я надеюсь, что это будет удачно.

— Вы называли Чингиза Айтматова. А кто вам еще знаком из наших писателей? Русских, советских?

— Прежде всего Чехов, и сегодня очень популярный в Америке. Я узнал его, еще учась в колледже, пересмотрел тогда все его вещи. В молодости я интересовался советской драматургией двадцатых годов. Знаю и люблю поэзию Андрея Вознесенского. Я написал предисловие к его книге, изданной в США. Он чудесный поэт, чье творчество известно во многих странах.

Последние годы я много работал, и у меня оставалось очень мало времени на чтение. Полтора года, не отрываясь, я вынужден был корпеть над биографией, обдумывая историю своей жизни. С возрастом меньше читаешь — больше пишешь сам. Но я, видимо, много теряю, что не имею возможности читать новые произведения советских авторов.

— Господин Миллер, вы, наверное, не побывали еще в московских театрах и у вас нет о них своих впечатлений?

— К сожалению, это так. Но я видел постановки театра в Паневжисе. Это интересный театр. Он замечательно поставил Айтматова, а также пьесу о художнике Пиросмани. Удивительную выставку работ этого великого мастера мы буквально только что увидели в Москве.

— Вы много ездите по свету и наверняка знаете мировой театр. Скажите, чей театр сегодня вам наиболее близок, интересен?

— Английский!

— Чем? Игрой актеров, выбором пьес, актуальностью режиссуры?

— Я думаю, их преимущество состоит в комбинации двух вещей. Первое — правительство субсидирует театры и второе — оставляет их в покое. Они свободны и делают что хотят. Без всякого вмешательства. Это началось в сороковых годах и сохранилось как традиция по сегодня. Но сейчас Тэтчер неожиданно исключила из бюджета средства для театра, и теперь актеры пытаются получить их из других источников.

— Со времени вашего дебюта как драматурга прошло почти сорок лет. Скажите, вас и сегодня много играют?

— Да, мои пьесы ставят и нынче, и гораздо больше, чем когда они были написаны.

— Чем вы это объясняете?

— Думаю, что люди устали от бессмысленного повторения одних и тех же вопросов. Публика устала от абсурдистских приемов в пьесах. В свое время это было ново. Нынче стало штампом, банальностью.

— О чем ваши последние пьесы?

— О памяти. Одна из них так и называется «Опасная память». Довольно забавная вещица о женщине, которая с трудом пытается вспомнить. Вторая — про человека, который с таким же трудом пытается забыть. Обе вещи скоро увидят сцену.

— Я слышал, что ваши пьесы поставлены недавно в Китае и вы сами осуществляли их постановку. Как это вышло?

— Почему именно в Китае поставлены мои вещи? Ведь китайский театр издавна прежде всего театр оперный. Традиция произнесенного слова, а не поющего нова для Китая. В пятидесятых годах китайский театр, ставя Горького, Чехова, Ибсена, имитировал приемы советского театра. У них не было никакого понятия о новых нереалистических направлениях. Но самое интересное в том, что настоящий китайский театр традиционно «нереалистичен». Известно, что уже в IX веке в Китае существовал «нереалистический театр».

Я понимал, какие трудности ждут меня в Китае с моими пьесами. Многим казалось, что постановки моих вещей не будут иметь успеха. Что же я сделал? Во-первых, я не разрешил актерам гримироваться. Не надо риторики, сказал я, идей много, играйте. А то они привыкли, что им сначала надо разжевывать идею пьесы, а потом уж они ее играют.

Все же я объяснил, что эта пьеса о человеке, которого снедает большая мечта о славе и деньгах. И это приводит к катастрофе. Я приучил их на сцене обращаться друг к другу, а не декламировать в зал. После

постановки «Смерть коммивояжера» многие плакали, хотя пьеса уж никак не сентиментальна.

Кстати, театр, где шла моя вещь, беден, и доход от постановки помог ему приобрести новые стулья.

— Скажите, что, по-вашему, является сегодня, именно сегодня, сутью искусства, его открытием?

— Вы знаете, основа искусства — правда. Но в последнее время я понял, что в мире у многих людей нет контакта со своим прошлым. Они многое не помнят, они потеряли память. И я хочу напомнить им о самом дорогом и памятном в моей жизни.

— В нашей Литературной энциклопедии сказано о том, что в вашем творчестве был период, когда вы не писали. Чем это объяснить?

— Не знаю, не могу точно ответить. Возможно, тем, что иногда три года пишешь пьесу и потом еще полтора года ее ставят. И ты ждешь. И может показаться, что ты в простое.

Я прошу А. Миллера вернуться к рассказу о его «Автобиографии». В ней наверняка много сказано интересного о судьбе выдающегося драматурга. В чем основная мысль жизнеописания?

— Я обнаружил в себе одну вещь: меня очень интересуют истоки, откуда я и что я есть. Я хочу узнать, как я появился в этом мире, и порассуждать над вещами, которые сейчас забыты, а когда-то были значительными. Ведь люди забыли свою историю, свое изначальное. Теперешнее искусство ограничено лишь настоящим. Сейчас не обращают внимания на то, что характер надо давать в развитии, во взгляде на прошедшее и на то, как прошлое влияет на развитие натуры человека, его нравов, характера.

«Автобиография» уже вмещает 900 страниц, осталось страниц 150. А потом все сожмется, по-видимому, до семисот страниц. Книга будет напечатана в Европе и Америке.

Вознесенский смотрит на часы, волнуясь за своих гостей, — не опоздать бы на самолет.

— Ну еще один, последний вопрос «Огонька», — говорит Андрей Андреевич.

Я задумываюсь.

— Господин Миллер, когда читатель прочтет ваш новый труд, «Автобиографию», какое впечатление у него останется: легка или трудна была ваша жизнь?

— Было и легко, было и трудно. Легче писались короткие вещи. Иногда случалось так, что трудно было попасть в мишень с первого выстрела...

Разговор подходит к концу, и я спохватываюсь, что приехал сюда без фотокорреспондента. Как быть? Выручает Инга Морат, жена А. Миллера, профессиональный фотомастер, автор многих книг. Выходим на крыльцо в осеннюю свежесть золотого сада. Два друга стоят рядом.

Инга улыбается, передавая отснятую только что кассету.

...А мне вспомнились слова Артура Миллера из его предисловия к пьесе «Вид с моста»: «...Товарный склад — это наш мир, в котором вещи бесконечно уходят и бесконечно приходят; только время не возвращается назад...»

*Сентябрь 1986 г.*

## СЛОВО НАДО ВЫСТРАДАТЬ

*Беседа с Григорием Баклановым в редакции журнала «Знамя»*

На земле есть все, чтобы люди могли жить счастливо и мирно, не воюя друг с другом, не истощая богатства природы. Но тем не менее мир в наши дни находится на грани катастрофы. Об этом трагическом противоречии говорил недавно в одном из своих выступлений известный советский писатель Григорий Бакланов. Так почему же наряду со значительными произведениями литературы, в которых — серьезнейшие вопросы времени, печатается столько поверхностных поделок? Не утрачивается ли высокая миссия писательского слова-призыва, слова-набата?

При встрече в редакции журнала «Знамя», главным редактором которого ныне является Григорий Яковлевич Бакланов, я спросил его об этом. Наш разговор коснулся и личной судьбы писателя; истории его произведений, фронтовой биографии, творческих планов и планов журнала. Постоянно звонил телефон, входили сотрудники, решались текущие вопросы, Григорий Яковлевич принимал посетителей, но наша беседа продолжалась.

— На этот вопрос еще классиками отвечено. Чехов писал в «Скучной истории», что искусства и науки, подобно богатым людям, всегда имеют около себя приживалов и не свободны от присутствия инородных тел. Они всегда были, есть, будут: люди, для которых дороже себя нет ничего на свете. То, что путь большинства известных писателей был не легок, признание пришло далеко не сразу, это не знают и не помнят. Виден итог, он манит. И это так сладостно, «...ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Но не себялюбивыми соображениями была движима и движется литература.

Книгу написать — это жизнь прожить. Я говорю даже не о проживтой самим писателем жизни, собственной его жизни, о том, что называют биографией — без этого писателя быть не может, — я говорю сейчас о том, что надо прожить в себе жизнь героев книги. Впрочем, это неотделимо. С какого-то момента книги и есть биография писателя, его жизнь. И герои их — это не персонажи, это живые люди, хотя они и вымышлены. Книги — если это настоящая литература, если это искус-

ство — населяют мир живыми людьми. А уж какое это занятие — прожить в себе жизнь своих героев — давайте и тут послушаем классиков. Вы, наверное, помните историю о том, как некое значительное лицо привело к Достоевскому своего сына: тоже, мол, жаждет стать литератором. А Достоевский сказал: это выстрадать надо, приходится страдать. И очень смутил этим значительное лицо: страдать? Зачем же моему сыну страдать? Я не хочу, чтобы он страдал... Не в точных словах я передаю эту историю, но смысл точен.

Писателем движет потребность утвердить в людях и в жизни доброе начало, а не самоутвердиться. Весьма опасны люди, главная цель которых — самоутверждение. Они опасны во всех сферах, а в искусстве — отвратительны. Отдать людям, а не взять — вот что движет художником. И это для него смысл жизни. Книги пишутся для того, чтобы способствовать нравственному совершенствованию общества, избавить людей от заблуждений, предрассудков, невежества, оно уже принесло людям столько бед. Нет, значение писательского слова не утратилось, быть может, именно сейчас время требует, как вы говорите, слова-набата, слова-призыва. Но нередко, к сожалению, пустопорожние поделки, как вы их называли, находят спрос, вызывают повышенный интерес, очереди выстраиваются у книжных магазинов за этим непропеченным «хлебом духовным».

— Но как быть с этим? Ведь нельзя росчерком пера, указом или инструкцией решить наболевшие вопросы.

— Нельзя. И не надо. Это процесс длительный, как и все преобразования, начатые в стране. Тут ничего не произойдет по мановению, даны возможности, а дальше все зависит от нас самих. Надо — это одна из мер — возродить достоинство критики. И определенную ее независимость. Отделы технического контроля сейчас выводят из подчинения тех предприятий, чью продукцию они призваны контролировать. Очень правильно. Что-то подобное надо придумать и в отношении критики. И тут дело не столько в организационных мерах, сколько в общественной атмосфере. Мы все за критику честную, мужественную... когда критикуют не твою, а чью-то книгу. Но как мы бываем обидчивы, как нетерпимы, когда речь не о чьей-то, а о нашей собственной книге, о нас самих. А ведь литература это не ложе, на котором возлежат, вдыхая фимиам и только фимиам. Прежние заслуги хороши, но каждой новой книгой надо заново доказывать, что ты писатель и гражданин. Никакие похвалы, никакие эпитеты не сделают писателя властителем дум. Это достигается только силой таланта, а не усилиями, связями и прочим.

Разумеется, характеры людей не меняются по желанию. Но характер общественных отношений изменить можно. И необходимо. Надо сделать нормой такое положение, когда позором станет преследование за критику. Обижайтесь сколько угодно. Дома. В кругу семьи. Но пользоваться влиянием для того, чтобы вывести себя из-под критики, чтобы неталантливая книга была объявлена шедевром, это надо предавать глас-



ности. Стыд должен ограждать, а не одни лишь административные меры. Стыд возродить, забытый в недавние годы. «Стыдно!» — и это должно останавливать. А не по принципу: «Стыд — не дым...». Общественная атмосфера — это тоже воздух, которым мы дышим. И нужно, чтобы этот воздух был чистым.

И другое. Мы привыкли говорить о нашем читателе в превосходной степени. Но посмотрите, что читают, например, в метро, в автобусах, поспрашивайте, что смотрят по телевизору. В издательских планах, на кино- и телеэкранах все больше места занимают детективы.

А теоретические рассуждения, скажем, о социальном значении романов Хейли! Ну, не смешно ли! Пощекотав публику умело выстроенным сюжетом, видимостью неполадок и проблем, Хейли всякий раз утверждает, что в том благословенном обществе, в котором он живет, все, все в конечном счете устраивается к лучшему. И нам тоже потребовалось в это уверовать? Его и в Америке-то всерьез не принимают, этого «бестселлериста», но как обрадовались ему, когда он посетил наши города и веси, с какой охотой интервьюировали его. И он рассуждал о том, что время все расставит по своим местам, что не только его, Хейли, значение, но и значение Чайковского когда-то было понятно не сразу... И это печаталось не в разделе «Нарочно не придумаешь». Как видите, нам мало собственных ремесленников, нам иноземные потребовались. Не слишком ли увлеклись мы легким, бездумным чтением, детективами, лжеисторическими сочинениями, в которых серьезнейшие события отечественной истории подаются в альковном духе?

Нельзя допускать, чтобы оскудевала природа, мелели реки, засорялись воды. Но в равной степени нельзя допускать, чтобы мелели души, оскудевало в человеке нравственное начало.

Разумеется, никто не против острого, захватывающего сюжета. Но сюжет для писателя — средство, а не цель. Многие главы нового романа Чингиза Айтматова «Плаха» построены почти по законам детективного жанра. Но какая глубина мысли, какая сила чувства. Читаешь о волчице, а тревога, скорбь за человечество. Это книга о самом главном, в ней есть сцены, которые станут классикой.

Так вот, по моему убеждению, читателя надо не захваливать, а воспитывать. И тут многое упущено и запущено.

Нам сегодня, когда за многие годы скопилось столько проблем, требующих немедленного решения, нужно думать и о том, что будет в отдаленные сроки. Надо имеющимися силами воспитывать учеников, но одновременно готовить учителей.

Возвращаясь к началу нашего разговора, хочу сказать, что все эти подделки под литературу усыпляют мозг и душу, не развивают, а навешивают сон золотой. Это своего рода сфера обслуживания и, надо сказать, навязчивая сфера обслуживания, умело навязывающая свои услуги и вкусы. Среди неискушенных читателей она распространяет взгляд на искус-

ство как на нечто себе подобное, как на потребительскую ценность, усиливает в обществе потребительские настроения.

Но этот год отмечен значительными произведениями прозы. И в первую очередь это «Плаха» Чингиза Айтматова, это «Пожар» Валентина Распутина, это «Карьер» Василия Быкова.

— Но мы знаем и другое: до недавних пор многие талантливые произведения лежали под спудом, их не печатали. И некоторые вещи, даже интересные, талантливые, устаревают.

— А вы знаете, я с вами не согласен, талантливые вещи не устаревают. Да, конечно, дорога ложка к обеду, очень жаль, что, скажем, роман А. Бека «Новое назначение» пролежал двадцать лет. Но вот он напечатан в 10-м и 11-м номерах журнала «Знамя», глава из него печаталась в «Огоньке». Устарел роман? Ничуть. Он звучит очень современно.

Я, разумеется, не за то, чтобы книги лежали годами, чтобы судьба писателя складывалась нелегко. Слово, сказанное вовремя, будит общественную мысль. Но подлинно талантливые книги содержат в себе не только злободневные, но и вечные вопросы. Это правильно сказано: рукописи не горят. Но и не старятся, если речь об искусстве.

И второе, что хотелось бы сказать. Сейчас нередко слышишь разговоры: вот минет полгода, год, напечатают то, что ждало своей очереди, а дальше? А дальше — новые талантливые произведения писателей известных и неизвестных, новые имена. Зная хотя бы портфель журнала «Знамя», могу сказать вам: они есть, и новые имена, и новые талантливые рукописи.

— Значит, можно сказать, что наступило время нравственных сдвигов, время талантов, время Литературы с большой буквы?

— Наступает. Для великих дел нужна энергия всего народа. И литература должна помочь изменить нравственную атмосферу, изменить мышление общества, помочь в борьбе с равнодушием, сделать перестройку необратимой. Но немало людей, кому даны сейчас права и возможности, ждут, испытывают некую растерянность: это что же мне вот так самому и решать? И отвечать? И сослаться не на кого? По-прежнему хотят, чтобы всякий раз и по всякому поводу что-то разъясняли, давали дополнительные указания, чтобы кто-то над нами брал ответственность на себя. Она всегда очень удобна — эта дозволенная смелость. Насколько проще, если за тебя разрешат, запретят, а ты либо поприветствуешь, либо многозначительно намекнешь на некие высшие силы, которые... хотя лично ты, мол, за. Оказывается, многих эта игра устраивала, очень была она привычной. Но свободы без ответственности не бывает и не должно быть, надо приучаться брать ответственность на себя. Так подобает, так честней. Оттого-то я и говорю: «наступает». Ибо без нас без всех, без каждого из нас ничего не совершится и не наступит. Это относится и к редакторам журналов.

— Вот вы, Григорий Яковлевич, произнесли слова «редактор журнала», и у меня сразу возникло несколько вопросов. Как вы решились

стать главным редактором крупного журнала? Что привлекло вас в новом амплуа? В свете событий последнего времени, связанных с перестройкой в жизни, искусстве, в литературе, с возросшими читательскими требованиями, как будет выглядеть «Знамя» в ближайшее время? С какими трудностями вы столкнулись в работе, в поисках новых интересных произведений?

— В общем-то, действительно, надо было решиться. Никаких должностей никогда я не занимал и не стремился занимать. Я писал книги, это — главное дело моей жизни. Но сейчас время такое, когда, как говорится, надо браться за гуж и не говорить, что не джуж. Надо сказать, что редактор журнала — это не должность, не служба, не пост. Это совсем другое. И, оставив начатый роман, я непрерывно читаю рукописи, огромное количество рукописей по принципу «в грамм добыча, в годы труды», чтобы составить портфель журнала. А еще нужно было сформировать новую редколлегия. Впрочем, всех «нужно» не перечесть.

За эти месяцы я смог убедиться в том, что подозревал и ранее: скромней, достойней всего ведут себя одаренные люди. Но каждый день я принимаю авторов, которые сами идут впереди своей рукописи, грудью стараются проложить ей дорогу. Надо ли так делать? Этично ли? Рукопись не дитя, талантливой книге сегодня все рады.

Ну, и, конечно, не просто отказывать человеку, во всяком случае, для меня это не просто — отказывать человеку, которого ты уважал по прежним его работам. Ну, неудачна вещь, с кем не бывает? Но имя-то дороже. Имя в литературе трудно заслужить и легко потерять. Это касается и авторов, и журнала: трудно заслужить доброе имя, легко утратить. И не только напечатанными рукописями воспитывает журнал, но и своим поведением. А потому как бы ни было трудно, нельзя снижать критерии, для одних подымать планку, перед другими опускать. Это непозволительно.

Сейчас на дворе, я бы сказал, удивительное для литературы время. Не напечатай мы роман Бека, его напечатали бы другие журналы. Но когда мы печатали этот роман, все та же группа лиц, хоть и постаревших на двадцать лет, прежними методами пыталась оказывать на нас давление, требовала, чтобы им дали заново ознакомиться с романом, требовала запретить печатание романа. Приходилось объяснять, что мы живем в конституционном государстве, где есть законы, равнообязательные для всех, есть авторское право. И если бы даже редакция хотела, она не имеет права без согласия автора давать его рукопись читать частным лицам. Впрочем, и в «Огонек» звонили эти пенсионеры, когда у вас печаталась глава из романа.

Год мы открываем новым романом Сергея Есина. Читатели, наверное, помнят роман Есина «Имитатор», печатавшийся в свое время в «Новом мире». Думаю, новая его вещь вызовет никак не меньший интерес. Роман будет напечатан в двух номерах, а в третьем номере надеемся на-

печатать интересную повесть Н. Шмелева «Пашков дом». И один из ближайших номеров «Знамени» мы откроем поэмой Александра Трифоновича Твардовского «По праву памяти».

Будет напечатана и повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая». Не сомневаюсь, что эта книга вызовет большой интерес. То, что я сказал, — это не попытка рекламировать в какой-либо степени имеющийся портфель журнала, который, кстати, не будем пока что раскрывать до конца. Я просто называю произведения, каждое из которых заслуживает серьезного внимания.

Не только проза, поэзия, но и публицистика, и критика, надеюсь, найдут своего заинтересованного читателя. Хочу еще раз подчеркнуть: литература не иссякла, не иссякает, наоборот, сейчас можно ждать нового ее взлета...

На этом месте нашего разговора я остановил себя на мысли, что мой собеседник, в сущности, ничего еще не сказал о себе, о своем творчестве, о своей насыщенной множеством интересных событий биографии. Ведь я вел беседу с известным писателем, мастером слова, без книг которого нельзя представить современную военную прозу, как, впрочем, и всю литературу наших дней. «Баклановский угол зрения на войну», — писал критик Игорь Дедков, — и воюющего человека, его картины фронтового быта, поэтизация всякого мгновения жизни как противовеса смерти произвели в свое время сильное впечатление. Василь Быков не раз говорил о влиянии на свое творчество баклановской прозы; она же помогла формированию другого интересного писателя наших дней, Вячеслава Кондратьева. Многим читателям запомнились и невоенные произведения писателя. Поэтому я решил спросить вот о чем: остались ли вещи, которые вам не удалось? И если да, какие?

— Не удалось все ранние вещи, я не включил их в собрание сочинений. В общей сложности это примерно так тридцать печатных листов: повесть, рассказы, очерки. И никогда у меня нет уверенности, что удастся новая, начатая книга. Вроде бы уже опыт есть, а всякий раз будто впервые проходишь этот путь длиною в несколько лет: день по дню, страница за страницей. И до самого конца не знаешь, не зря ли весь труд. И туда ли идешь. Как хочется скорей донести до места, свалить с себя этот груз, торопишь время. А завершилась книга, и жаль, что время это кончилось, интересно было жить. Так каждый раз. К сожалению, сейчас образовался у меня длительный перерыв, и чувствую себя непривычно.

— Вы помните себя 22 июня 1941 года?

— Очень хорошо помню. Разве забудешь этот день? Но вспоминать его не люблю.

— А 9 мая 1945 года? Каким оно всплывает в памяти?

— Мы были тогда в Австрии. Как обычно, зарылись в землю на высоте, на переднем ее скате, обращенном к противнику: артиллерийский наблюдательный пункт. И вдруг передают по телефону: война кон-

чилась. Знали, что вот-вот, скоро, а все равно застало нас врасплох. Осталась фотография, сделанная в тот день. Но это мы уже позируем на бруствере. Четыре года ждали этого дня, а все равно в первый момент и поверить было невозможно. Шутка сказать: война кончилась! Тут и радость, тут и мысли о тех, кто не дожил.

— Значит, между этими двумя датами вместились та часть вашей жизни, которая дала материал для будущих произведений. Осмелюсь спросить, хотя ощущаю некую банальность моего вопроса: скажите, без войны вы стали бы писателем или нет?

— И вопрос такой, и ответ на него — из разряда гаданий. Я только знаю одно: не проживши жизнь, писателем стать нельзя. Это, разумеется, не означает, что каждый проживший жизнь, каждый опытный человек — литератор. Записать свою жизнь может каждый, другой вопрос, что он увидел в этой жизни.

Но факт остается фактом: война породила целую литературу. Великие события в жизни народа порождают значительную литературу. Если мы оглянемся назад и посмотрим, как складывалась русская классическая литература, то мы увидим, что, как правило, она всегда отражала или сами великие события в жизни народа, общества, или предощущение этих событий. Я бы даже поставил в особую заслугу литературе, что в первую очередь именно она предощущает, предчувствует значительные события. Не буду приводить примеров, их много.

— А как быть тем, кто не воевал на фронте, но пишет о войне, как быть молодым литераторам? Тридцатилетним, сорокалетним? Разве можно закрыть для них тему войны?

— Не надо ничего ни открывать, ни закрывать.

И оттого, что я скажу, писать, не писать, ровным счетом ничего не изменится. Но опыт показывает, что самые значительные книги о войне написаны ее участниками. И так было всегда. А вслед за книгами фронтовиков пришла очередь тех, кто были во время войны детьми, подростками. Так появились, например, книги В. Семина, В. Козько, так написана повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая». В основе каждой из этих книг — собственное пережитое, словом, то, о чем человек не мог не рассказать.

Нынешние молодые литераторы (впрочем, тридцатилетние, сорокалетние — это не такие уж молодые, это зрелые люди), думаю, прежде всего должны рассказать о своем времени. Неужели мало тем? Такие события совершаются в нашей стране, такие события происходят в мире. Создается новое мышление атомного века. А вы хотите, чтоб след первой телеги влек за собой все остальные.

Неужели, скажем, Чингиз Айтматов или покойный Юрий Трифонов, просмотрев документальную кинохронику, почитав книги, не смогли бы написать что-то о войне? Наверное, смогли бы. Но каждый из них стремился сказать свое слово, то единственное, которое без него не бу-

дет сказано. И это сделало Айтматова — Айтматовым, Трифонова — Трифоновым.

Каждое поколение, каждый писатель приходит со своим видением мира, приходит сказать свое. Вполне возможно, что со временем из исторического далека заново взглянут на события Великой Отечественной войны. Но это будет уже иная, историческая литература.

*Октябрь 1986 г.*

## ПАМЯТЬ В ТЕБЕ, ЗНАЧИТ — ГОРИШЬ ТЫ!

*Беседа с автором прозы, которой раньше не было*

«Человек и животное отличаются друг от друга памятью, между человеком и скотиной стоит память, знаешь — нет? Память в тебе, значит, горишь ты, значит, человек со своими счетами, со своим беспокойством, а нет в тебе памяти — вот в поле корова пасется, она беспамятная. Телка, ее вчера зарезали, но она беспамятная. Вот дерево стоит, если у него есть память, то и у дорогих твоих родичей она есть. Твоих режут, под корень срубают, обделяют, насмехаются над ними — твои бегут от такой памяти, твои сбегут, все забудут и опять обделенными будут, и опять у них не будет памяти, потому что они боятся против насмешки с кулаком пойти и на лишения еще пущим лишением ответить. Говорите — любовь, говорите — любим, любите. А что вам еще делать, любите, потому что мужества в вас нет, чтобы кусаться, бить, обделять. Чтоб ненавидеть. Вы боитесь ненавидеть, вы вашу любовь платком сделали, завязали ею глаза, потому что боитесь взглянуть в упор и возненавидеть — вдруг увидят, что ненавидите, возьмут и пристукнут. Убьют...»

*Из рассказа Г. Матевосяна «Твой род».*

«Сложная, своеобразная, удивительная манера письма».

«Самый тип художественного зрения делает Матевосяна уникальным писателем в нашей литературе: он видит и событие, и то, что сделало событие неизбежным, и то, что породило самое неизбежность».

«Все три члена триединства (ум, совесть, чувство гармонии) у него в замечательном равновесии и на высоте...».

«Вампилов, Матевосян, Высоцкий — это самые сильные из того, предшествующего поколения, которые сумели устоять от компромиссов...».

«Вы перешли какой-то очень важный рубеж в высокую литературу».

«Я живу теперь в мире, Вами сотворенном, я страдаю его страданиями, радуюсь его радостями...».

«Прозу Гранта Матевосяна нелегко отнести к какому-то определенному современному течению. Это прежде всего проза, которой раньше не было».

*Из рецензий и писем.*

— А ты знаешь, что живешь в номере, где жил когда-то долгое время наш великий Егише Чаренц? Второй этаж, правое крыло, комната с балконом. Считай, что тебе повезло...

А я считаю, мне повезло оттого, что я узнал Гранта Матевосяна. В Москве говорили о нем одно и то же: самобытный писатель, личность, замечательный и добрый человек.

Так оно и вышло. Грант Игнатьевич рассказывал об Армении, ее истории, ее сегодняшнем дне. Мы ездили с ним в Гарни и Гегард, святые для каждого армянина места, бродили по Еревану, засиживались за полночь в его квартире.

Прочитав о Матевосяне главу в книге «Статьи из романа» писателя Андрея Битова, хорошо знавшего его в молодости, я понял, что он почти не изменился. Так же по-крестьянски совестлив и мудр, ни особый весельчак, ни собеседник. Так же много пьет кофе и мало спит по ночам. Так же горячо, только, наверное, еще горячее любит свою Армению. Так же пишет только о своей деревне, где провел юность и где сегодня доживают свой век его родные и близкие.

И так же основательно, почти медлительно создает он свои книги. Недавно ему исполнилось 50 лет, а написано им только два тома, изданных в Ереване. На русский язык из них переведена половина. А между тем книги его не лежат на прилавках магазинов, его имя известно у нас в стране — он лауреат Государственной премии СССР. При мне раздался телефонный звонок из Союза писателей. Американские почитатели таланта Матевосяна приглашали его в поездку по США. Мне показалось, кстати, что согласился он неохотно. А между тем ему есть что сказать своему читателю — и нашему, советскому, и зарубежному. Ибо в произведениях Матевосяна, таких, как «Буйволица», «Ташкент», «Под ясным небом старые горы», «Мать едет женить сына», и других отражен весь мир. Ведь каждый народ — человечество в миниатюре, в его судьбе преломляются извечные вопросы жизни и смерти, любви и ненависти, войны и мира.

И если армянское селение Цмакут, о котором постоянно пишет Матевосян, интересно лишь армянскому читателю, значит, он не состоялся как художник, считает писатель.

— Я не хочу бросаться вопросами в безвестность. Я решительно не согласен с мнением, что писатель должен задавать вопросы. Но кому задавать? Времени, обществу, всевышнему? Или кому-то еще? Кто дол-

жен отвечать на эти вопросы? Так вот, в литературу надо войти ответами. Ответами!

— Но многие, и мы это особенно сегодня ощущаем, Грант Игнатьевич, не только не могут ответить на вопросы, поставленные временем, но и задать их, сформулировать.

— Да, пишущих много. В Армении тоже. Это раздражает. Это значит, что они не читают. Они не читают Льва Толстого, они не знают, что такое Пушкин. Мне кажется, что перо надо брать в руки тогда, когда ты готов стать... маршалом или... секретарем ЦК.

— Не понял?

— Ну, во всех временах, я буду условен, в литературе мне нравится по-хорошему покровительственное, заботливо-отцовское отношение к жизни, к людям. Не бунтарство, не злость, не злопыхательство, а озабоченность всем, что есть. Тревога за всех, за все. Вот у Нодара Думбадзе было что-то от такой позиции. Не надо быть бунтарем, оппозиционером. Тем более только ради оппозиции. Писатель должен быть Отцом. Всемудрым, всевидящим, всеочувствующим.

Хотя, бывает, спохватишься, сил в тебе больше нет, не хватает, и ты ничего уже не можешь и хочешь только кричать, что тебе плохо, что тебе больно.

Иногда приходит разочарование, когда ты чувствуешь, что твое слово мало помогает людям. Когда вокруг происходят какие-то, ну, что ли, мажорные события, и ты должен таким же мажором ответить на них, но ты не можешь, не хочешь. Или ты видишь, что не так отвечаешь, не в такт. И хочется просто молчать. Но и здесь ты понимаешь, что это право дано другому, скажем, Шолохову или Маркесу.

— А может быть, и Гранту Матевосяну? Мне кажется, что для тридцати лет творчества вами написано не много — всего лишь два тома. Я понимаю, что дело не в количестве томов, но все же почему?

— Пишется трудно. Не знаю, из-за чего так трудно пишется. Но я вижу очень много мусора, и я безжалостно выбрасываю его в сторону, потому что это лишнее не только ложно во мне, в мыслях моих, но еще и в жизни. Поначалу кажется, что ты сталкиваешься с настоящей жизнью, а потом оказывается, что это плохо поставленный спектакль. Так много ложного в твоих писаниях, что тебе самому, не то что читателю, скучно перечитывать, хотя тобой вроде бы отражена чистейшая жизнь. Ложного потому, что кто там у тебя изображен — Христос, или, быть может, Сталин, или кто-то еще, или что-то другое, — но изображаемое тобой уже и есть режиссура. Ты это чувствуешь, и надо дойти до такого состояния, которое можно назвать откровением, ибо без него ты не можешь идти дальше. Ибо все остальное — театр.

— Помните у Верлена: «Все прочее — литература...».

— Да, да; это точно сказано, я говорю именно об этом. У нас так много в жизни, в искусстве, в культуре полуживого или вовсе неживого, так много полуремесленников, полуписателей, полуминистров, несосто-



явшихся людей, что каждая состоявшаяся личность в любом ремесле, если он хорошо это ремесло исполняет, каждая завершенность меня удивляет. Я вижу, что жизнь здесь не напрасна, она присутствует. Именно с этих позиций я принимаю тех в искусстве, кого мы подчас несправедливо пытаемся отместить.

Прошлым мастерам была свойственна уверенность во всем, что они делали, творили, а сейчас какая-то растерянность, я вижу полуслепых людей, вошедших в огромный мир, но не могущих овладеть им, управлять, влиять на него.

— Я знаю, что ваш прадед полтора столетия назад на пустом месте основал село. Он, наверное, был сильной личностью? Расскажите о нем.

— Он появился однажды в этих краях с топором в руках. Разложил костер, чтобы отдохнуть, согреть воды. И был убит фразой маленькой наивной дочки: «Отец, здесь нет трубы. Как же будет подниматься дым?» Эта фраза передавалась как легенда из поколения в поколение. Мула привязали к дереву, мать доила корову, девчонка сидела у костра. Чтобы построить дом, надо было искать материал. Человеком он был совестливым, поэтому не рубил на постройку красивые, прямые стволы. Он проложил дороги, открыл родники, сделал хлеба, выдолбил чаши, «напек» кирпичей. И стал заместителем бога на земле...

Через много-много лет внуки спросили его: «Почему-ты выбрал именно это место в горах, вдали от жилья?» И он ответил: «Я появился здесь с одним топором, а сейчас у нас сотни овец, дюжины буйволов, двадцать коров, хороший дом, в нем есть недостаток... Прекрасное это место, сынок».

И действительно, он создал здесь свое государство, свою страну. После той девочки родилось еще пять сыновей, и каждый из них был будто министр мясной и молочной промышленности того государства. И была там еще и королева — хозяйка с деревянным половником в руках. Все новости ей подчинялись.

Через десять лет другой род появился. Жизнь текла вдали от суеты и городов. Но вот большой мир забрал одного из мужчин на войну. Он стал грамотным, выучил русский язык и вырезал свое имя на буковом дереве: «Есаи». Прекрасные у всех у них были имена: Аветик — добрая весть, Арутюн — возрождение, Акоп, Овсеп, Григор...

Я, слабый городской человек Грант Матевосян, иду на поклон к такому сильному человеку, к моему дяде. Крепкому, инициативному. Энергия в нем кипит, он может руководить своей семьей и селом, и страной, если надо будет. Потому что он крепко сидит на земле. На своей родной земле. В нашем потерянном и растерянном мире нужны такие люди.

— Грант Игнатьевич, в ваших повестях и рассказах так много естественного жизненного, непридуманного, так много народной мудрости, наблюдений, что вы кажется мне человеком другого — более старшего поколения! А ведь вам всего пятьдесят.

— В какой-то мере я счастливый и несчастный человек. Да, я могу судить о прошлых поколениях, потому что половина моей жизни протекала рядом с ними. Эти поколения проводили меня до сегодняшнего дня. Так что в каком-то смысле я часть ушедшего навсегда. Часть его опыта.

Нелегко беседовать с Грантом Матевосяном. Не потому, что несовершенен его русский язык, не потому, что медлительность его речи переходит нередко в запальчиво извергаемое нагромождение слов. А потому, что мыслит он удивительно необычно. Плотно, спиралеобразно, неожиданно. Мне все время кажется, что в беседе с Матевосяном, так же как и при чтении его книг, можно не увидеть или не почувствовать какого-то третьего подтекста.

Как ярко народная мудрость сочетается в нем с приобретенным знанием. Верно заметил Битов: «Именно крестьянин в нем интеллигентен, а не человек из крестьян, получивший высшее образование».

— Я считаю, что мир начал принципиально меняться только в 70-х годах XX века. Конечно, была революция, были войны и многое другое, но перелом в сознании людском наступил на наших глазах.

— В каком смысле?

— Прямо на глазах в последние пятнадцать — двадцать лет село Ах-нидзор, например, основанное полторы сотни лет назад моим предком Ованесом Матевосяном, сколоченное им, как ковчег, крепко и надежно, эта вековая обитель людская стала разваливаться, идти ко дну. С уходом старой, «патриархальной» закалки уходит очень многое, очень важное — чувство хозяина земли. Хозяина пашни, хлеба. Когда-то я мог сказать, что моя жена моложе матери на тридцать лет, они повторили друг друга, но вот моя дочь только внешними чертами похожа на теток, во всем остальном она их не повторяет. Пришла другая среда, иное поколение выросло в этой другой среде.

Я весь вышел оттуда, из той среды. Я воспитывался там, и я должен рассказывать о них, о моих праотцах и дедах. Измениться я уже не в силах. Более того, если бы я чувствовал в себе сто лет жизни, я как правдоискатель занялся бы новыми проблемами. Но времени у меня нет. Поэтому я должен найти о том поколении, об ушедшем, праведное, правдивое слово.

— Под тем поколением и той жизнью я вижу судьбу армянского крестьянина, селянина, труженика. Вы вышли из этой деревенской жизни, и вы пишете о ней. Недаром критика относит вас к так называемым «писателям-деревенщикам». О самом термине спорить не будем, но любой читатель скажет, что основная тема ваших книг — жизнь села, современного или прошлого. А вам совсем не хочется писать о городе, о его проблемах и заботах?

— Однажды я отложил едва ли не единственный рассказ о городской жизни и этим же вечером начал писать очерк о родном селе. Это произошло неожиданно, и так же неожиданно я обнаружил, что та

жизнь, о которой я хотел рассказать в одном своем очерке, эта жизнь достойна, чтобы о ней писать и писать. Рассказывать о городе интересно, ведь и моя жизнь и тысячи других жизней складывают сегодняшний Ереван, но как мало сказано о деревне. Заверяю вас, не рассказано ни Толстым, ни Шолоховым. Скажем, о целине Шолохов хорошо написал, он был очевидцем и участником событий, но он не заметил, как трагически начинают ссориться труд и человек. А ведь еще вчера они были в дружбе.

Кое-какие детали привносят в эту тему писатели моего поколения. У нас еще есть опыт и чувство. Но идущие после нас не в силах будут рассказать о крестьянине, который, условно говоря, складывался от первого века до девятнадцатого. Мы в этом смысле — могикине. И мы должны успеть еще кое-что осмыслить и рассказать.

Не рискуя говорить о «деревенской» литературе в целом, скажу только о себе: я из рода Данилы. Помните, в «Войне и мире» был у Наташиного дядюшки в деревне такой охотник, он только один раз и появляется в сцене охоты. Толстой его заметил и как бы дал знать, что я, Толстой, и это могу: перевоплотиться в Данилу... Но ни Пушкин, ни Гоголь, ни Шекспир, ни Туманян, ни великая армянская демократическая литература не взглянули, мне кажется, на жизнь глазами Данилы. Ни один армянский писатель не вышел из крестьянства, они были крестьянскими сыновьями, но все-таки на вещи смотрели «дворянским» взглядом. Приметы у них деревенские, а вот взгляд — снаружи... А мы хотим смотреть оттуда, изнутри. Хочу рассказать о себе, о моем отце, который даже внешне на Данилу похож и краснел так же, как он, встретившись впервые с городскими девушками... И я скажу, что Данила не беднее Пьера Безухова, что настоящий Пьер спит в Даниле.

В книгах иных современных литераторов, торопящихся писать на потребу дня и высокомерно уверенных в своей правоте и непогрешимости, я вижу черты литературы халтурной, поверхностной, однодневной.

— Я заметил, что женщины в ваших книгах — цельные, сильные натуры. Даже в подчинении мужчине, в забитости. Агун, например, из повести «Мать едет женить сына». Думаю, что это не случайно.

— Я сын всех этих женщин. Хочется матриархата. Мужчины теряют себя, слабеют. А женщины все так же сильные. Наверное, их обманом привезли в наш мир и наложили на их хрупкие плечи огромный невыносимый труд. Такие героические натуры не только у меня. Разве Настена в «Живи и помни» у Распутина не такая?

— Иногда языковая структура ваших произведений кажется усложненной, не всякий читатель готов к ее восприятию.

— Но заданности в этом нет никакой. Быть может, из-за некрепкости руки смычки не всегда удается достигать и мои герои говорят моим голосом. Надеюсь, что если не завтра, то в будущем они будут говорить своими голосами.

Но вообще за фактурой материала скрывается мое желание помочь человеку найти свой дом, свой двор, свою семью. Чтобы все это не разрушалось. Ведь он хрупкий, человек. Хотя мы «кладем» его под атом, ставим перед ним нечеловеческие трудности и он разрушается, но я верю: он выживет, не разрушится. Человеку нужна семья, жена нужна, хозяйство, кошка нужна, корова, все это даст ему покой.

А вся моя заслуга в поисках союза формы и содержания лишь в том, что я нашел несколько правильных фраз и мыслей. Например, вот эта: «Они планируют свое прошлое и будущее, а наше поведение, как чужая лошадь, убегает из-под нас».

— Я слышал, что вы ведете довольно замкнутый образ жизни. А как же встречи с читателями?

— Я люблю встречаться с читателем понимающим. Когда собирается такой зал, для меня это подлинное счастье. В таком читателе я вижу единомышленника, соратника. Ведь писателю принадлежит только половина из созданного им, остальное — это отклик, это реакция среды, это огромный зал от Карпат до Тихого океана.

Когда меня спрашивают, чувствую ли я своего читателя, вижу ли его, я отвечаю, что вижу только опосредствованно, но не будет абсурдным сказать, что я пишу для Льва Толстого. Для Туманяна пишу, для моего младшего брата, прекрасного читателя, для Андрея Битова пишу, друга своего, пишу для нескольких умных писем, которые, я уверен, придут ко мне, и я лишний раз пойму, что все не напрасно.

— А жители условно названного вами селения Цмакут — перспективного села, которое вы же и защищаете от гибели, ибо считаете, что нельзя губить те гнезда, из которых народ черпал силу во все времена, — как они относятся к вашим писаниям? Они-то уж вас понимают, наверное, ведь все вами написанное — о них.

— Они просто воспитанные, вежливые люди, они почитают то, что почитает город, они подчиненные в этом смысле, и я не такой дурак, чтобы думать, что они будут меня читать, и понимать, и любить. Никогда такого не будет. Все-таки я для другого читателя, нет, наивно думать, что я написал, а они прочитали.

— У вас в Ахнидзоре гостил Уильям Сароян. О чем вы с ним говорили, это очень интересно, ведь Сароян, армянин по происхождению, крупнейший американский писатель XX века?

— Обо всем... Я думал, думал о том, что человек может быть великим; свободным, как святилище. Я читал Толстого, знаю Шекспира, был знаком с превосходным актером Папаяном, богом сцены, и это все было для меня взлетом духа. Но Сароян выше... Своим естественным дыханием, свободой выражения мысли и чувства. Я перед ним чувствовал себя провинциальным поклонником. Для него так естественна высокая духовная фантазия. Ведь человек, оказавшись то ли в плохом расположении духа или в силу каких-то обстоятельств жизни, становится часто тупым, низким. Сароян был во всем — в деталях, в мелочах, в нюансах

поведения, существования — высоким, точным, щедрым. Когда он выступал по телевидению в Ереване, владея не более чем двумястами пятьюдесятью словами по-армянски, он при этом выразил весь мир, опутал весь мир, какая тонкая была в нем суть, какая точность выражения мысли. Он предстал передо мной великим литературоведом, общение с ним было большим для меня подарком.

Он очень любит Гоголя, особенно «Шинель». Я спросил Сарояна, о чем он пишет, когда исчерпывается материал, думает ли он о запасе материала, и он мне ответил, этот умный, гениальный старик, он ответил, что материал — это я сам. Пока я есть, есть и материал для слова.

— А кто или что оказал на вас наибольшее влияние? Я имею в виду прежде всего культуру армянскую.

— Я бы ответил шире, чем вы поставили вопрос. Кто-то из русских писателей очень точно сказал, что время, в котором ты живешь, надо относить к понятию Родины, что моя Родина — это мое время. Ну, а в другие времена, наверное, XX съезд партии, дух свободы и раскрепощенности после него. Потом дух белого хлеба, когда его стали продавать без очередей. Потом, когда вернулся из Сибири Гурген Маари. Потом, когда вышли полным изданием книги стихов Чаренца. А если со школьной скамьи, то это только один — Ованес Туманян. Когда я в школе читал Туманяна, я, как и всякий ребенок, не понимал еще, что значит для меня Туманян или Пушкин. Но с годов младенчества остался во мне он, наш великий Ованес.

— Как вы воспринимаете то обновление жизни, которое идет сейчас у нас в стране. Что бы вы считали главным в обновлении жизни села, вашей родной деревни?

— Надо вернуть крестьянину уважение к себе, уважение к тому, что он делает. Изменить отношение к труду. Даже если этот труд не всегда приносит быстрые плоды и растрачивается зря. Все равно что-то остается. Остаешься ты, превосходный холоп на земле. Надо работать, а работа будет обрабатывать тебя. Спасет человека только труд, только работа. Работа с лопатой в руках. Иначе не будет ничего. Нужен трудный хлеб. Если же ты не можешь накормить самого себя, дело плохо. В Армении каждый клочок земли на вес золота. Это надо представлять, что такое горный лес, что такое горы. Как надо их охранять, любить, беречь. Даже горы.

Иногда можно слышать, что нынче народ вроде бы, возвращается в деревню, едут на выходные, покупают дома, строят дачи. Пусть, дескать, временно, но приезжают. Я хотел бы спросить каждого, чтобы он откровенно мне ответил, для чего он возвращается, приезжает, навещается. И он ответит: копать землю, растить плоды. А дальше? Чтобы потом купить машину. Купить машину... Вот в чем трагедия. Люди хотят легкой жизни. Но никто не думает о трудном, о горьком хлебе. А думать надо. Думать надо о том, что ты родился там-то и там-то и ты туда должен вернуться навсегда. В человеке должно быть чувство малой

родины, чувство того, что ты хозяин здесь, на этой малой родине. На этом пятачке, на этом участке. Но не гость. Ты гость в другом месте, в других городах и весях. Там ты чужой. А здесь, где ты родился, ты здесь и хозяин, и работяга, и князь, и холоп. Превосходный холоп на земле отцов и дедов.

Опасно меняется, прямо на глазах, психология человека. С одной стороны, хорошо, а с другой — слишком ответственно чувствовать себя хозяином огромной территории, которая называется СССР. В случае чего тебя защитят, как гражданина Советского Союза, но, с другой стороны, в тебе появляется другое — твое безответственное отношение к той малой земле, к тому крохотному Советскому Союзу, на котором ты родился и вырос.

Вспоминается мне в связи с этим одна туманяновская притча. Страшная была засуха, не уродился хлеб, хотя крестьяне честно обрабатывали землю. Что делать? Пошли в соседний более богатый район. Может быть, думали они, там не было такой беды. Но там тоже хлеба не оказалось. Тогда они пошли еще дальше, но и там беда не обошла людей. И крестьяне поняли, что беда пришла на всю землю.

Сегодня же мы избалованы. Мы уверены, что помощь придет сама по себе. О земле можно забыть. Одни уверены, что хлеб растет на Кубани и Кубань не оставит при случае в беде, а кубанцы, я уверен, думают иногда, что хлеб растет во Франции или в Канаде, и чего там, при случае привезем хлеба из чужой земли.

А я вижу спасение в одном — в том азербайджанце или армянине, который не доверяет машине, а предпочитает коня. Это кажется отсталостью, консерватизмом веет от такой мысли, но это святая консервативность. Тот, кто надеется на коня, он ответствен перед своей семьей, перед своим колхозом, перед государством. Он накормит семью, поделится с колхозом, поможет стране.

Вы удивляетесь, а как объяснить, что деды с полян вывозили в моей деревне по две тонны сена, а сейчас с этих же полян — ни клочка.

Понятие перестройки, ускорения? Не знаю, как точнее — ускорение или торможение, дело не в термине. Конечно, по отношению к коню — торможение, но ведь важен результат. Сегодня надо работать, с тем чтобы потом увидеть результат. Но думается мне, что здесь надо мыслить и видеть поколениями. Как один деятель сказал другому при каких-то чрезвычайных обстоятельствах: вы нас не поймете, нас поймет поколение, которое сейчас в детсаде. Перестройка сознания — это тяжелый труд, и думается мне, что это труд не на машине, а на коне. Каждодневный, дотошный, неторопливый.

Обновление! Но есть факты, не дающие сомкнуть глаз. И мы знаем о них: миллионное воровство, приписочный обман государства, министр-преступник, прием в партию за определенную мзду. Волосы седеют!

Если же говорить о литературе, то ускорение здесь — это прежде всего уважение к личности. К личности писателя. Творца. Правдовидца. Надо уметь его выслушать, понять, даже если он и говорит иногда не сразу понимаемое другими. Уважать надо его и смотреть на него не как на материал, а на цель. Настоящий писатель — это всегда большая цель. Он необходим обществу как воздух. Он первый понимает, что происходит и что будет происходить. Так было всегда и в России, и в Армении...

— Грант Игнатьевич, если бы я попросил вас написать автобиографию, как бы вы ее начали?

...Родился я в 1935 году. Облик этих и последующих пятнадцати, двадцати и даже тридцати лет моей жизни гораздо более приближен ко временам Туманяна — Толстого — Гомера, нежели к сегодняшним нашим дням. Я пахал землю, косил траву, помогал родиться теленку, прививал дерево — чтобы всего не перечислять, скажу сразу: если бы повторилась легенда с потопом, я, как Ной, смог бы возродить на земле большую земледельческую и скотоводческую культуру... И если бы что случилось с памятью человечества, я смог бы по образу и подобию своих односельчан, по их тогдашнему образу жизни слепить наново кодекс человеческой нравственности...

Я бы хотел придумать множество прекрасных людей, и тогда бы не осталось места для плохих; я бы хотел придумать время действия для моих повестей — тогда бы в них не было места войне..

А мне хотелось бы еще долго разговаривать с Грантом Матевосяном, удивительным человеком, писателем, мыслителем, крестьянином, превосходным «холопом» литературы. Но у него другие дела.

*Ноябрь 1986 г.*

## СУДЬБА МОЯ СГОРЕЛА МЕЖДУ СТРОК...

### *Десять встреч с Арсением Тарковским*

Он вскрикивал неожиданно и протяжно. К этому нельзя было привыкнуть, и каждый раз я не знал, как себя вести: молчать, сочувствовать, извиняться.

— Фантомная боль — ощущение отсутствующей ноги, — пояснила Татьяна Алексеевна. — Два года, с зимы сорок первого по зиму сорок третьего, Арсений Александрович пробыл на фронте. И почти все время на передовой.

В переделкинском Доме творчества в маленькой комнатке живут сейчас поэт А. А. Тарковский и переводчик Т. А. Озерская, его жена, адресат многих его лирических стихотворений. Я ненароком вторгся в их размеренное бытие и в течение десяти вечеров, мучая вопросами,

слушал рассказы о жизни и работе в литературе одного из лучших наших поэтов.

Больше говорила Татьяна Алексеевна. Половина жизни Арсения Александровича прошла на ее глазах, и мне показалось, что она знает о нем почти все. Самому ему говорить было трудно: недавно перенесенная болезнь отняла много сил. Он быстро уставал, и тогда мы медленно поднимались с ним на второй этаж, где в кафе заваренный на травах чай возвращал ему чуточку бодрости.

Биография любого человека интересна современникам, биография такого человека, как Арсений Тарковский, интересна вдвойне. Ибо все в ней волнует, заставляет оглянуться назад, задуматься над творчеством художника, написавшего строки:

Я бессмертен, пока я не умер,  
И для тех, кто еще не рожден,  
Разрываю пространство, как зуммер  
Телефона грядущих времен.

...Гражданская война. Завладев городом Елизаветградом, атаманша Маруська Никифорова допрашивала пленных в штабе, расположенном в бывшем кавалерийском училище. Бронепоезд стоял на станции. Город оцепенел, устав от голода и войны. Все знали, что атаманша мстит за смерть своего мужа.

Она сидела в кресле, опустив голову. Короткие прямые волосы, свисая, закрывали лицо. На столе — «маузер». За спиной — охранник в тельняшке. Пленных предварительно содержали в кордегардии, а потом приводили на допрос.

Перед атаманшей стоял мальчик лет двенадцати. Его привел здоровенный казак. Среди задержанных был и старший брат этого мальчика, бросивший бомбу в атаманшу.

— Я же сказала, не брать хлопчиков, — приподняла голову Маруська. — Разобраться и доложить!

Потом открыла ящик стола, достала ярмарочный витой, обернутый серебром леденец и, поглаживая по голове, протянула ему: «Гарный хлопчик...»

Казaku, приведшему ребенка, было дано распоряжение довести его домой и взять от родителей справку, что довел благополучно. Проходя коридорами кавалерийского училища, где мальчику было все так знакомо, ибо здесь преподавал математику его дядя, казак чертыхался и, приговаривая «набрядло все», как-то жалобно стонал.

На стук в окно выглянула мать:

— Где же ты был, я весь город обегала... Не сидится дома, смотри что творится кругом.

Мальчик признался, что был в плену, но постыдился сказать, что у Никифоровой, а казак многозначительно добавил: «Атаманша». В запи-



ске, которую дала казаку сельская учительница Мария Даниловна, говорилось: «Арсения Тарковского, ученика 3-го класса гимназии Крыжовского, доставили домой и проводили благополучно».

Отец будущего поэта Александр Карлович, самый любимый герой всей его жизни, — народовец-восьмидесятник. Более десяти лет протомился он в ссылке за Якутском, где вел обстоятельные записи об этой земле, ее людях, обычаях. О тех, кто волею судеб оказался рядом с ним. Когда в 1920 году буденновская армия взяла Елизаветград, Александра Карловича пригласили в особый отдел Первой конной армии, чтобы «объясниться» по поводу посылки и письма, пришедших на его имя из Польши. Письмо гласило: «Дорогой Саша! Я теперь неплохо устроился, я маршал Польши. Целую тебя. Приезжай, привози семью, коли женат. Твой Юзеф». «Судьбою правит случай» — бывший ссыльный припомнил человека по фамилии Пилсудский. Неужели это он?

Времена были крутые, и Александр Карлович понимал, что значит получить вести от руководителя военными действиями против Советской России со стороны Польши. Он догадался взять с собой письмо Ленина, в котором Владимир Ильич, лично знавший А. К. Тарковского, просил его написать воспоминания о «Народной воле». Письмо это и спасло ему жизнь. Комиссар чуть ли не с почестями отправил адресата посылки восвояси.

— Письмо Ленина я отдал в Музей Революции сразу же после смерти отца, еще в двадцатые годы, — сказал Арсений Александрович.

В 1925 году А. Тарковский окончил профтехшколу. Небольшой украинский городок слыл центром культурной жизни. Сюда приезжали известные композиторы, музыканты, писатели. Выступал с лекциями Бальмонт. Одно из детских потрясений будущего поэта — вечер знаменитых российских поэтов Игоря Северянина и Федора Сологуба. Шестилетнего мальчика родители взяли на этот вечер. До сих пор Арсений Александрович не может понять, почему ему понравился именно Сологуб. Но случай этот не остался без последствий. Юноша, всерьез начавший «жить стихом», решается на поездку в Ленинград.

— Мне очень хотелось еще раз увидеть Сологуба, поблагодарить его за стихи, сказать, что я помню его с детства. С трудом в незнакомом мне городе нашел я квартиру знаменитого поэта. Когда я вошел к нему, он был грустен и одинок. Не заживала душевная рана после гибели любимой жены и друга Анастасии Николаевны Чеботаревской. За стеной назойливо играли гаммы. Я спросил Федора Кузьмича, не удручают ли они его. «Нет, — ответил тот, — мне не так одиноко». Поставили три прибора. Третий для той, ушедшей из жизни, — такой в этом доме был ритуал.

Сологуб долго расспрашивал юного гостя о Елизаветграде, о родителях, о любимых поэтах, долго не отпускал его и лишь под конец неожиданно спросил: «А сами-то вы стихов не пишете?» Я признался в своем «грехе». Он попросил почитать что-нибудь и, выслушав, вынес

приговор: «Это очень плохие стихи, молодой человек, но вы не теряйте надежды, пишите, быть может, что-нибудь у вас и получится». Эти слова запомнились мне на всю жизнь.

Когда я уходил, хозяин дома подал пальто. Я смутился, а он пошутил: «Молодой человек, я подаю вам пальто не из подхалимства, а потому что я член добровольного общества взаимного подавания пальто». И уже почти вдогонку он предложил мне свою книжку, но взять ее я не посмел. Больше мы не встречались.

\*   \*  
\*

О дружбе А. Тарковского с М. Цветаевой в короткий отрезок времени — от ее возвращения на Родину до отъезда в эвакуацию — ходят легенды. Одна из них окрашена в романтические тона. На самом деле все было иначе. И проще. Через переводчицу Яковлеву Тарковский послал Марине Ивановне книжку стихов переведенного им туркменского поэта Кемине. Перевод ей очень понравился, и она написала в записке: «Вы все можете». Состоялось личное знакомство, перешедшее в пылкую, но кратковременную дружбу. Марина Ивановна жила тогда в маленькой комнате невдалеке от Главпочтамта. Он приходил к ней в гости, и они отправлялись гулять. Цветаева любила ходить пешком, используя для этого любую возможность. Маршрут их прогулок проходил по улице Мархлевского, Рождественскому бульвару, Сретенке. Шагала она удивительно быстро, и спутник едва поспевал за ней. Беседовали в основном во время прогулок. Она подолгу рассказывала о своей любимой Праге, о парижской жизни, о превратностях судьбы.

Во время одной встречи Тарковский прочитал Цветаевой только что сочиненное им стихотворение:

Стол накрыт на шестерых,  
Роза да хрусталь,  
А среди гостей моих  
Горе и печаль.

И со мною мой отец,  
И со мною брат.  
Час проходит, наконец  
У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,  
Холодна рука  
И не модные шуршат  
Синие шелка.

И вино поет из тьмы,  
И звенит стекло...  
Как тебя любили мы —  
Сколько лет прошло.

Улыбнется мне отец,  
Брат нальет вина,  
Даст мне руку без колец,  
Скажет мне она:

«Каблучки мои в пыли,  
Выцвела коса,  
И звучат из-под земли  
Наши голоса».

Уже в пятидесятых годах от писательницы М. Белкиной он узнал о том, что существует как бы ответное стихотворение поэтессы «Ты стол накрыл на шестерых...», опубликованное, кстати, в «Огоньке» № 42, 1982. Как оказалось, это стихотворение — подлинный шедевр цветаевской лирики — было одним из самых последних ее творений. Помечено оно 6 марта 1941 года.

\* \*  
\*

Сохранилась фотография, запечатлевшая А. Тарковского и А. Твардовского на фронте. Я попросил Арсения Александровича прокомментировать этот снимок. Одиннадцать раз писал он заявления с просьбой взять его в армию и каждый раз получал отказ. Потом наконец добровольца мобилизовали. Работал он в должности писателя армейской газеты «Боевая тревога».

В его задачу входило сочинение юмористических статей и рассказов. Главное было — не раствориться, не растеряться в этом аду и хаосе. И он учился у отца выдержке, хладнокровию, умению сохранить себя.

— На нас шли немецкие танки. Я прыгнул в окопчик, на меня свалился другой человек и стал душить меня от ужаса. И тогда на живом узоре моей памяти завязался еще один узелок: никогда, никогда не терять своего человеческого образа. Даже в такой обстановке, даже на войне, даже на краю гибели...

А как много доброго открыл он на фронте в людях. Сколько встреч, запомнившихся на всю жизнь, преподнесла война. Командиром его группы войск был Константин Константинович Рокоссовский. Однажды, заглянув в палатку к гвардии капитану Тарковскому, соснувшему после ночного задания, он приподнял край шинели, накрывавшей спя-

щего человека, и в ответ получил пару ругательных слов — Арсений Александрович не знал, кто потревожил. Командующий, смутившись, произнес: «Виноват», отдал честь и вышел. Вроде бы случай, почти курьез, но он прекрасно дополняет образ маршала, прославленного военачальника.

За участие в боях с фашистами А. А. Тарковский награжден орденами и медалями. После ранения разрывной пулей он перенес три ампутации ноги, последняя операция, произведенная в клинике Вишневского, была самой мучительной.

Весной 1945 года А. Тарковский выписывается из госпиталя и начинает усердно заниматься переводами. В Союзе писателей СССР состоялся его первый творческий вечер. Выступавшая на нем Маргарита Алигер сказала: «Перед нами поэт милостью божьей, нужно издать его книгу».

Лишь немногие любители поэзии да книголюбы знают, что книга Тарковского «Перед снегом» — это не первая его книга, а вторая. Судьба первой такова. Она была сдана в издательство «Советский писатель» и ушла в набор, когда появилось постановление ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Директор издательства решил на время, пока, как говорится, улягутся страсти, задержать выпуск книги. Поэтому матрицы в типографии «законсервировали» на несколько месяцев. В этот период сменилось руководство издательства, и новый директор принял решение заново отрецензировать рукопись. И набор рассыпали.

А. Тарковский, и до того мало заботившийся о своем литературном хозяйстве, о своей творческой репутации, начисто потерял интерес к изданию стихотворений. И только благодаря настойчивости Татьяны Алексеевны книга-стихов «Перед снегом» была собрана, отнесена в издательство «Советский писатель», получила в высшей степени одобрительные отзывы М. Алигер и Е. Златовой и увидела свет в 1962 году (Арсению Александровичу, увы, было уже пятьдесят пять), сразу же став событием в современной поэзии.



В один из вечеров я попросил Татьяну Алексеевну рассказать о молодом Тарковском, о том, как они встретились.

— Однажды, это было весной сорок второго года, я пришла в Союз писателей за пайком и увидела красивого молодого человека в военной форме. Он поразил меня тем, что как птица перелетал из комнаты в комнату, и я успела подумать: ну и стремительность.

Позднее в том же Союзе я услышала рыдающий голос Сусанны Мар: «Какой кошмар! Тарковскому ампутировали ногу». И я грешным делом произнесла про себя: «Господи, что же так кричать, голова-то целая, а ведь столько людей и головы сложили». А в мае сорок четвертого

однажды в переделкинском Доме творчества я увидела мужчину, который тоже был похож на птицу, но только со сломанным крылом. Спросила: «Кто это?» Ответили: «Разве вы не знаете, это Тарковский». И тут у меня все связалось в одно: военная форма, стремительность, вопли женщины. Не успела я опомниться, как меня извещают: «Сегодня он будет читать свои стихи, приходите». Я в те дни переводила своего любимого О'Генри и, поддавшись какому-то внутреннему сопротивлению, на вечер не пошла, устроилась с рукописью на верхней террасе. По совпадению чтение стихов молодым поэтом происходило на нижней. И вот до меня доносится красивый мужской голос: «В жаркой женской постели я лежал в Симферополе...» «Боже, какая пошлость,— подумала я,— как хорошо, что я не пошла на вечер». Но голос продолжал читать, и я невольно прислушалась. И буквально в течение минуты все во мне изменилось: я поняла, что первое впечатление было обманчивым. Случаются неудачные строки и у хороших поэтов, а на самом деле там внизу звучат настоящие стихи. Я спустилась вниз и не пожалела: все, что читал Тарковский, произвело на меня огромное впечатление. На вечере мы и познакомились, а позже, в 1946 году, поженились.



С А. А. Ахматовой Тарковский впервые увиделся на квартире поэта Г. Шенгели в 1946 году. Он был приглашен специально для этой встречи. Знакомство началось с шуточного эпизода. Арсений Александрович взял в руки небольшую шпажонку, которой баловался хозяин дома, и Анна Андреевна пошутила: «Кажется, мне угрожает опасность?» «О, нет, Анна Андреевна, я не Дантес», — почему-то выпалил гость. Всегда находчивая Ахматова растерялась: «Я не знаю, как мне ответить на такой комплимент».

Тарковский прочитал какие-то стихи, и Ахматова заметила, что они похожи на стихи Мандельштама. Следующая встреча произошла в Голицыне в Доме творчества, а потом они виделись все чаще и чаще.

— Арсений Александрович, я слышал, будто бы Анна Андреевна выглядела королевой, гордой и непреклонной?

— Нет, королевой она не была. Во всяком случае, мне так не казалось. Правда, однажды, когда ей сказали, что Эльза Триоле приглашает ее в Париж, Ахматова действительно по-королевски парировала: «Не понимаю, почему она меня приглашает, я же не зову в Москву римского папу».

Однажды я поссорился с ней из-за Модильяни. Я посмел сделать замечание по поводу ее воспоминаний о встречах со знаменитым художником — они мне не понравились. «Лучше бы вы стихи писали, а не пишется, думали бы о боге», — сказал я Ахматовой.

— Арсений пришел домой ужасно расстроенный, — вступает в раз-

говор Татьяна Алексеевна. — «Я поссорился с Ахматовой», — сказал он убитым голосом. Тогда я посоветовала ему завтра же купить большой букет цветов, стать перед ней на колени и извиниться.

Но Арсений Александрович ничего этого не успел сделать. Раздался телефонный звонок. «Это говорит Ахматова, — слышалось в трубке, — вместо того, чтобы нам ссориться, браниться, нужно поддерживать друг друга, хвалить добрым словом».

Разве королева могла так поступить?! Далеко не каждый смертный в такой ситуации простил бы обиду. Ахматова была цельным, мужественным человеком.

В архиве Тарковского сохранились две телеграммы от Ахматовой. Они связаны с выходом его первой книжки — «Перед снегом». Прочитав ее, Анна Андреевна сначала телеграммой поздравила Тарковского, а потом позвонила и сказала, что если теперь, не дай бог, с ним что-нибудь случится, то ей будет жаль его гораздо больше. Ахматовой нравились его стихи. Особенно стихотворение «Когда б на роду мне написано было лежать в колыбели богов». Вечером Тарковский оставил ей автограф этого стихотворения, а утром она позвонила ему и похвалила стихи.

Дружба с великой поэтессой была сердечной, искренней. Ее смерть поразила Тарковского. Он не находил себе места. Сопровождал усопшую в Ленинград, присутствовал при отпевании у Николы Морского, хоронил в Комарово.



А. Тарковский — известный переводчик. Блистательный мастер стихотворного перевода, он высоко оценен на этом поприще и критикой, и читателями. Одна из самых близких сердцу работ и самая, пожалуй, значительная — перевод стихов выдающегося туркменского поэта XVIII века Махтумкули.

Тарковского пригласил на эту работу Союз писателей Туркмении, и с осени 1946-го по июнь 1947 года он жил с женой в Ашхабаде.

— Еще по подстрочникам, — вспоминает Татьяна Алексеевна, — которые, как известно, лишь первоначальное «сырье» для переводчика, он поразился глубине мысли Махтумкули. Он бегал по комнате, читал и все время приговаривал: «Ты только послушай».

Однажды был такой смешной эпизод. Арсений Александрович закончил перевод стихотворения «Скажите лжецам и глупцам», вскочил со стула и, радостный, возбужденный, в восторге упоения от самого себя, закричал: «Я как Пушкин готов кричать: «Ай да Арсик, ай да сукин сын! Мне тоже хочется скакать на одной ноге!» — и прочитал мне стихотворение:

Скажите лжецам и глупцам:  
Настало их подлое время.  
Скажите безумным скупцам:  
Казна — бесполезное время.

Он — в восторге, я — в восторге, но вдруг Арсений подходит к столу, хватается за голову: «Я застрелюсь, я утоплюсь! — Что такое? — Я пропустил одну строфу. — Ну так переведи ее? — Ее перевести нельзя. — Почему? — Я использовал все имеющиеся рифмы: племя, стреля, время, время, семя, семя. — Не может быть, чтобы в русском языке не было еще одной такой рифмы. — Нет, больше нет, не успокаивай меня, я полон отчаяния».

Подхожу к столу, начинаю сравнивать с подстрочником. Где же пропущенная строфа? Оказалось, что все на месте, ему просто почудилось, настолько он был возбужден, что строфа выпала.

Но любопытно другое: когда мы приехали в Москву и по словарю русских рифм проверили мои сомнения, оказалось, что прав был Арсений Александрович, действительно, подобных рифм больше нет в нашем языке.

Александр Фадеев взял перевод Махтумкули на прочтение и спустя несколько дней собрал секретариат Союза писателей, пригласив на него директоров издательств «Советский писатель» и Гослитиздат. Когда все собрались, он предложил Арсению Александровичу прочитать что-нибудь из сделанного в Ашхабаде, после чего Фадеев довольно безапелляционно произнес: «Я считаю, что эти переводы необходимо немедленно издать, причем сразу же в двух издательствах. Кто «за»?» Все подняли руки. И произведения Махтумкули, до того мало известные русскому читателю, сразу же стали популярными. А сегодня мы не можем представить нашу богатую многонациональную литературу без замечательных творений одного из лучших поэтов Востока.

Год, проведенный в работе над переводами Махтумкули, никогда не забудется. Не забудется забота туркменских товарищей, помогавших консультациями и в бытовых проблемах, экскурсии по республике, знакомства с людьми.

Осенью сорок восьмого года мы снова собрались в Ашхабад. Вместе с нами должен был лететь один наш коллега. Мне почему-то хотелось добираться поездом, и я долго уговаривала Арсения Александровича и нашего товарища именно так и сделать. В конце концов мужа я сумела уговорить. Когда же мы прибыли в Ашхабад, нашему взору представила страшная картина разрушительного землетрясения. Поезд приехал буквально перед самым последним толчком. Как потом выяснилось, наш коллега, прилетевший самолетом, погиб.

Из Туркмении Тарковский выехал в Каракалпакию, где ему предложили переложить знаменитый эпос «Сорок девушек». О нем упоминается еще в сочинениях Геродота. В Нукусе хватило лиха. Время было

трудное, страна оправлялась от военных невзгод. Жили Тарковские в неудобной гостинице, без каких бы то ни было удобств. Двери не запирались, окна нараспашку, невдалеке были шакалы. Еда самая скудная. Ко всему прочему Арсений Александрович заболел малярией и тропической лихорадкой.

И все-таки работу свою он завершил. Мало того, это был еще один его выдающийся переводческий вклад в дело дружбы литератур и народов нашей страны. Работу эту можно считать практически оригинальной, ибо двенадцать тысяч строк эпоса «Сорок девушек» записывались за сказителями.

При обсуждении в СП СССР ученый-фольклорист Л. Климович прямо заявил: «Нередко читаешь тот или иной эпос, плохо переведенный, и таяет ко сну, так вот почти впервые я прочитал до конца такую большую и увлекательную вещь». Это была высокая похвала мужественному труду замечательного переводчика.

\*   \*  
\*

Арсений Тарковский по-детски равнодушен к популярности, к какому-либо околосредотворным пересудам. Радует его лишь тогда, когда получается хорошее стихотворение и оно кому-то нравится. В особенности человеку, мнение которого Арсению Александровичу небезразлично.

Пишет Тарковский мало. «Избранное», вышедшее несколько лет назад, в сущности, вместило почти все, что сделано. Интересно, что некоторые годы выходят особенно плодотворными. Пятьдесят седьмой, например. Чем это объяснить? Ветрами времени? Близостью с добрыми людьми? Вдохновением? Он не знает.

На мой вопрос, когда он понял, что поэзия его призвание, Арсений Александрович ответил: «Наверное, от рождения. Во всяком случае, с самых юных лет. И к Сологубу-то я бросился потому, что стихи — это то, чем я жил уже в ту далекую пору».

*Декабрь 1986 г.*



## СОДЕРЖАНИЕ

Вглядеться в прошлое, понять будущее. У <i>Вениамина Каверина</i> в день его 84-летия. . . . .	3
У Виктора Астафьева на Енисее. <i>Печальные беседы с автором «Печального детектива»</i> . . . . .	10
Публика устала от банальностей. <i>Два часа с Артуром Миллером</i> . . . . .	19
Слово надо выстрадать. <i>Беседа с Григорием Баклановым в редакции журнала «Знамя»</i> . . . . .	22
Память в тебе, значит — горишь ты! <i>Встреча с автором прозы, которой раньше не было</i> . . . . .	29
Судьба моя сгорела между строк... <i>Десять встреч у Арсения Тарковского</i> . . . . .	38

Феликс Николаевич МЕДВЕДЕВ

### СУДЬБА МОЯ СГОРЕЛА МЕЖДУ СТРОК

Редактор Д. К. И в а н о в

Технический редактор Т. Е. А в д е е в а

---

Сдано в набор 30.01.87. Подписано к печати 20.03.87. А 00346. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,21. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000. Изд. № 926. Зак. 103. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

## **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ**

### **● Страхование школьников от несчастных случаев**

**Страхование школьников от несчастных случаев** проводится среди учащихся дневных общеобразовательных школ.

**Срок действия договора** — один год, страховая сумма — 1000 рублей. Страховой взнос в размере 2 рублей уплачивается наличными деньгами страховому агенту.

**Школьник считается застрахованным** в течение всего года (включая каникулы) с 1 сентября по 31 августа. Договор страхования действует и в тех случаях, когда школьник в течение года переходит в другую общеобразовательную школу, в том числе и в связи с переездом на новое место жительства в другой район или город.

**При наступлении страхового случая** родителям ребенка будет выплачена страховая сумма или соответствующая ее часть.

Подробно ознакомиться с условиями страхования школьников от несчастных случаев можно в инспекции Госстраха.

**ГОССТРАХ РСФСР**